



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

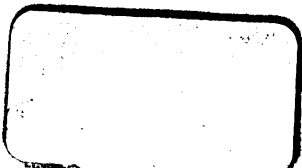
О программе Поиск книг Google

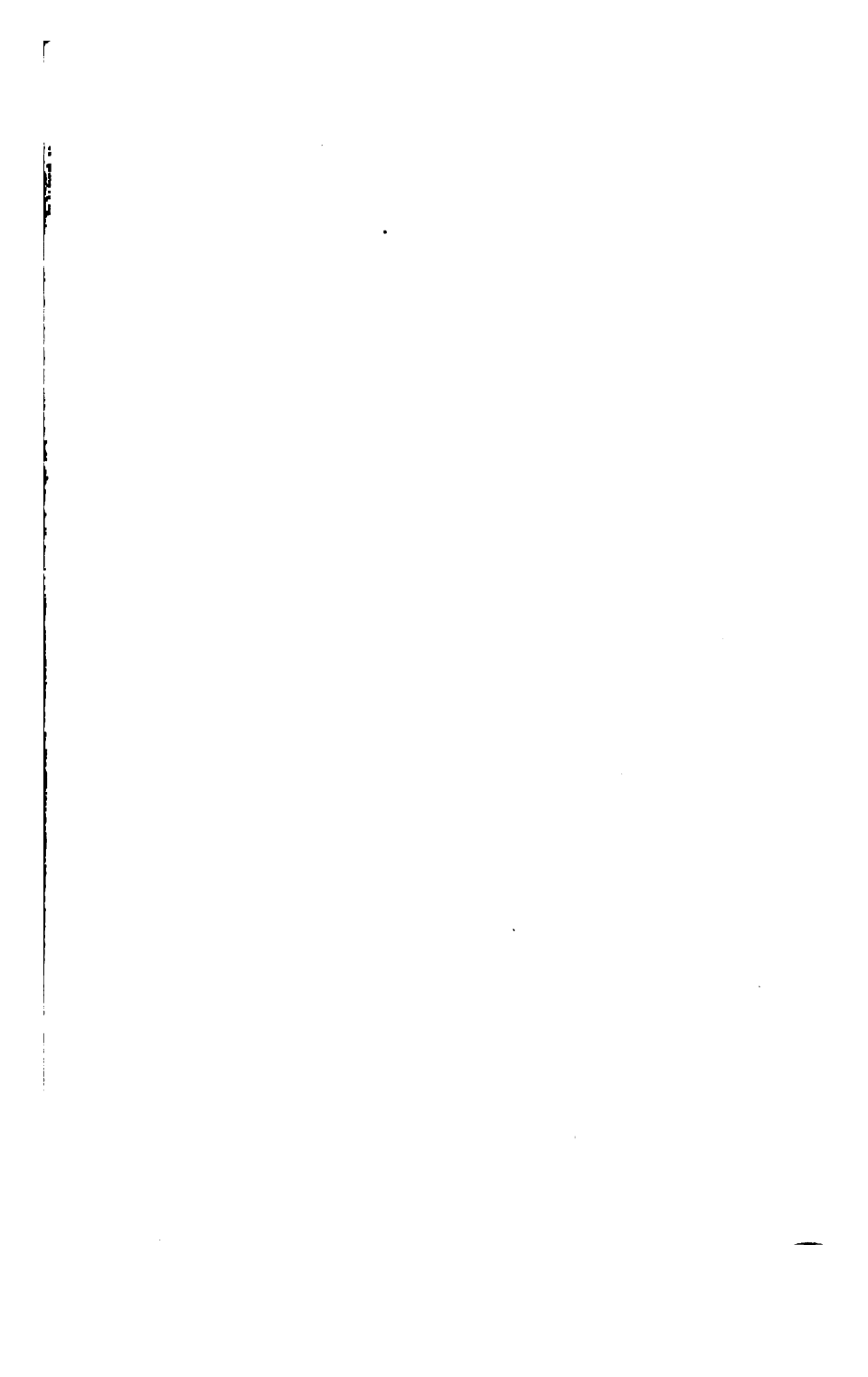
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Sl2v 4341.30.820

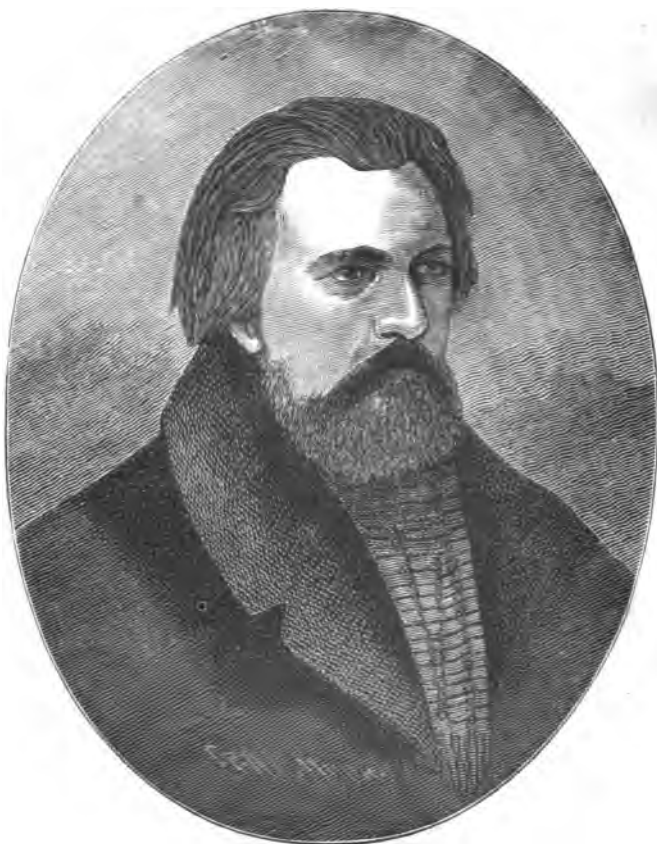


HARVARD
COLLEGE
LIBRARY









Аполлонъ Григорьевъ.

Д. МИХАЙЛОВЪ.

Аполлонъ Григорьевъ

жизнь въ связи съ характеромъ
литературной дѣятельности его.

Бъ портретахъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Складъ изданія у Н. Герасимова.
1900.

Slav 4341.30. 820

✓

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 Августа, 1899 года.



68*2 (LPL)

Паровая типографія А. Л. Трунова. Калашниковскій прос., № 15.

81

Посвящаю

*Константину Константиновичу
Случевскому*

со всякой глубокой сердечной привязанности

Царское Село.



«Дурно ли, хорошо ли—я продолжаю въ этомъ отношеніи» (т. е. въ отношеніи художественной критики) «дѣло Бѣлинскаго, и горжусь этимъ смиреннымъ назначеніемъ,—не отвѣчая ни на циническія выходки невѣжества, ни даже на минутныя требованія современности, предоставляя будущему разсудить, что право: вѣрованіе ли въ жизнь и искусство, или вѣрованіе въ теорію и вопросы минуты?». (Соч. А. Григорьева, I т., стр. 414) *).

Въ этихъ словахъ Григорьева, сказанныхъ въ 1859 г. въ Русскомъ Словѣ по поводу романа «Дворянское Гнѣздо» Тургенева, слышно упорное убѣжденіе покойнаго критика въ правоту своего дѣла; въ нихъ же уже есть намекъ на оцѣнку этого дѣла... Но пока не о томъ рѣчь.

По всей справедливости намъ слѣдовало бы на-

*) Читано въ Русскомъ Литературномъ Обществѣ въ Мартѣ 1890 г.

чать наши строки о Григорьевѣ сѣтованіями на наше общество. Оно, помня литературныя имена одного разряда, съ какимъ то непонятнымъ основаніемъ забываетъ имена другого. — Какъ будто въ однихъ именахъ все рѣшеніе и утвержденіе дѣла, а въ другихъ, преданныхъ забвенію, отрицаніе и искаженіе его. Вообще не нужно быть особенно одареннымъ свыше, чтобы не замѣтить много любопытныхъ явленій въ исторіи развитія нашего общественнаго сознанія, не нужно быть и особенно конгеніальнымъ, чтобы не замѣтить подкладки этой исторіи. — Отношенія нашего общества къ своимъ писателямъ, къ тѣмъ изъ нихъ, которые наиболѣе потрудились ему на пользу, которые жизнь свою отдали исключительно его духовнымъ интересамъ, не вызваны ни справедливостью къ ихъ трудамъ и признаннымъ истинными цѣнителями заслугамъ, ни любовью къ содержанію ихъ дѣятельности, ни чувствомъ признательности за полученное духовное содержаніе. Таково общее нравственное состояніе нашего общества. Изъ тысячи — вспомнимъ только одно типичное явленіе — чтó мы дѣлали съ Пушкинымъ съ Января 1837 года до Іюня 1880 года. Исторія одного этого явленія можетъ привести въ отчаяніе любителя родной словесности. — Да, послѣ этого столѣть правъ Щедринъ, съ болью въ сердцѣ звавшій: «гдѣ ты, читатель — отзовись!» Насъ оскорбило это восклицаніе стараго писателя; мы тогда еще не помышляли о печатномъ авторствѣ, находясь въ

числѣ тѣхъ, къ кому отнесся Щедринъ. Но съ теченіемъ времени — при видѣ голыхъ фактовъ — мы признали справедливость этого возгласа и съ болью въ сердцѣ согласились съ нимъ... Григорьевъ 32 года изъ 42 лѣтъ своей жизни жилъ подѣ вліяніемъ литературы. Это былъ богато одаренный человѣкъ, призванный быть судьей художественныхъ созданій. «Центральный нервъ, основную струю его жизни» — какъ говоритъ Страховъ — составляло искусство. Въ этомъ послѣднемъ и передъ нимъ онъ полагалъ свой долгъ, имъ онъ гордился. Вотъ сфера духа, которою жилъ и дышалъ Григорьевъ, радуясь и печалась. «Ничто его столько не занимало, не увлекало, не наполняло, какъ явленіе въ мірѣ искусства вообще, и въ мірѣ словеснаго искусства въ особенности. Это былъ урожденный критикъ, для котораго критика была единственною потребностью и прямымъ назначеніемъ жизни» — говоритъ Григорьева другъ «Гораціо — Косица», Страховъ. (Эпоха, 1864 г. Августъ. «Воспоминаніе объ А. А. Григорьевѣ». Стр. 2), хорошо понимавшій своего «Гамлета» и разъяснившій значеніе критики Григорьева въ предисловіи къ первому тому его сочиненій, изданныхъ имъ же въ 1876 году и увы! не разошедшихся по сей день. И вотъ этотъ самый критикъ не вызвалъ къ себѣ сочувствующаго вниманія ни въ ученой литературѣ, ни въ текущей журналистикѣ въ теченіе 35 лѣтъ со дня своей смерти (25 Сентября 1864 г.). Фактъ этотъ плохо рекомендуетъ настроеніе нашихъ

умовъ. Оно не серьезное и не глубокое къ прискорбію. А между тѣмъ вотъ двѣ стороны критической дѣятельности Григорьева, которыя нельзя забыть. Во первыхъ, вся молодая плеяда поэтовъ Пушкинской школы поэзіи выдержала эстетическій судъ Григорьева. Она, плеяда эта, работаетъ съ успѣхомъ и въ наше время; *) и, во вторыхъ, выдержанныя, убѣжденные сужденія критики о Пушкинѣ (разъясненіе типа Бѣлкина и вообще всего объема и всей мѣры генія Пушкина), сужденіе о Лермонтовѣ, Гоголѣ, Грибоѣдовѣ (не слѣдуетъ забывать перваго по времени безпристрастнаго взгляда Григорьева на Чацкаго), о Тургеневѣ, далѣе проповѣдь новаго слова откровенія, сверкавшаго въ начинавшейся драматической дѣятельности Островскаго, — вотъ что болѣе всего цѣнно и долговѣчно въ дѣятельности нашего критика. Наконецъ, — имъ предложенъ общій, философскій взглядъ на существо и развитіе нашей словесности, взглядъ единственный и не повторившійся со смерти Бѣлинскаго. Его сужденія рано или поздно займутъ свое мѣсто въ исторіи развитія нашего литературнаго сознанія; будущій историкъ нашей словесности занесетъ въ свою исторію имя Аполлона Григорьева. Выражаемъ это убѣжденіе, солидарное съ аналогичнымъ взгля-

*) Маститый поэтъ К. Случевскій, впервые оцѣненный Ап. Григорьевымъ («Сынъ От.» 1860 № 6) въ настоящее время оправдалъ въ полной мѣрѣ своего критика.

Д. МИХАЙЛОВЪ.

Аполлонъ Григорьевъ

жизнь въ связи съ характеромъ
литературной дѣятельности его.

Бъ портретоиз.

Цѣна 30 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1900.

У КНИГОПРОДАВЦА

Н. И. ГЕРАСИМОВА.

С.-Петербургъ, Симеоновская ул., д. № 3-й.

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Алексеѣвъ. Этюды О Ж.-Ж. Руссо. Т. I Ж.-Ж. Руссо во Франціи (1741—61) М. 1886 г., 2 р. 50 к.

— Т. П. Связь политической доктрины Ж.-Ж. Руссо съ Государственнымъ бытомъ Женевы. М. 1887 г., ц. 2 р. 50 к.
— Макиавели какъ политическій мыслитель. М. 1880 г., ц. 2 р. 50 к.

Аристовъ, П. Я., профес. Аеонасій Прокофьевичъ Шаповъ. Жизнь и сочиненія, съ портретомъ А. С. Шапова. Посмертное изданіе. Спб. 1883 г., ц. 2 р.

— Первые времена христіанства въ Россіи по церковно-историческому содержанію русскихъ лѣтописей, 1888 г. ц. 1 р.

— Промышленность древней Руси. Спб. 1866 г., ц. 1 р. 50 к.

— Христоматія по русской исторіи для изученія древне-русской жизни, письменности и литературы отъ начала письменности до XVI вѣка. Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Варшава. 1870 г., ц. 3 р.

Аріостъ. Неистовый Роландъ съ портретомъ Аріоста и двадцатью гравюрами лучшихъ французскихъ художниковъ, переводъ подъ редакцію В. Р. Зотова. Спб. 1892 г., ц. 4 р.

Барсовъ, Е. Причитанія сѣвернаго края, въ 2-хъ т. Изд. Общ. Любит. Русск. Словесн. М. 1872—82 г., ц. 4 р. 25 к.

Березинъ Л. В. Хорватія, Сла-

вонія, Далмація и Военная граница. Въ 2-хъ томахъ. (Съ прилож. карты юго-славянск. провинцій Австро-Венгріи). Спб. 1879 г., ц. 6 р.

Бестужевъ-Рюминъ, Н. Біографіи и характеристики. Татищевъ. Шлецеръ, Карамзинъ, Погодинъ, Соловьевъ, Ешевскій, Гильфердингъ. Спб. 1882 г., ц. 2 р. 50 к.

Благовѣщенскаго, Н. М. Горацій и его время (Удостоено Императорской Академіей Наукъ, почетнаго отзыва, принято Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ число гимназическихъ учебныхъ пособій по латинскому языку). Изд. 2-е. Варшава 1878 г., ц. 1 р. 30 к.
— Винкельманъ и позднія эпохи греческой скульптуры. Съ рисунками. Спб. 1891 г., ц. 1 р. 50 к.

Бэнь, М. Психологія, переводъ съ англійскаго. Второе дополненное изданіе. Спб. 1887 г., ц. 2 р. 50 к.

Вальтеръ Эльзъ. Опыты по физиологіи растений съ 19 рисунками. Спб. 1894 г., ц. 50 к.

Вольфсонъ, В. Д. Основы біологіи. Съ приложеніемъ двухъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ 1882 г. въ педагогическомъ музеѣ Солянаго Городка въ С.-Петербургѣ. Спб. 1888 г., ц. 1 р. 50 к.

Гейеръ, Ген. Проф. Мозгъ и мыслъ, перев. съ польскаго. Спб. 1895 г., ц. 1 р.

домъ Галахова, который предложилъ его въ Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія 1877 г. II. Еслибъ Григорьевъ ни одной печатной строчки не оставилъ, какъ знакъ своей литературной дѣятельности, послѣ этихъ нижеслѣдующихъ строкъ о Пушкинѣ, — то уже по одному этому проникательный взглядъ призналъ бы великость дарованія писателя, такъ близко съумѣвшаго подойти и понять геніальную душу великаго нашего поэта. «Да! вопросъ о Пушкинѣ мало подвинулся къ своему разрѣшенію со времени «литературныхъ мечтаній», а безъ разрѣшенія этого вопроса, мы не можемъ уразумѣть настоящаго положенія нашей литературы. Одни хотятъ видѣть въ Пушкинѣ отрѣшеннаго художника, вѣри въ какое-то отрѣшенное, не связанное съ жизнью и не жизнью рожденное искусство, — другіе заставили бы «жреца взять метлу» и служить ихъ условнымъ теоріямъ... Лучшее, чтъ было сказано о Пушкинѣ въ послѣднее время, сказалось въ статьяхъ Дружинина, но и Дружининъ взглянулъ на Пушкина только какъ на нашего эстетическаго воспитателя. — А Пушкинъ — наше все: Пушкинъ — представитель всего нашего *душевнаго, особеннаго*, такого, чтъ остается нашимъ *душевнымъ, особеннымъ* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ — пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами, — все то, что принять слѣ-

дуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности, — образъ, который мы долго еще будемъ оттѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего до него бывшаго и ничего, что послѣ него было и будетъ правильнаго и органически нашего. Сочувствія Ломоносовскія, Державинскія, Новиковскія, Карамзинскія, сочувствія старой русской жизни и стремленія новой, — все вошло въ его полную натуру, въ той стройной мѣрѣ, въ какой бытіе послѣ-потопное является сравнительно съ бытіемъ до-потопнымъ. въ той мѣрѣ, которая опредѣляется русскою душою. Когда мы говоримъ здѣсь о русской сущности, о русской душѣ, — мы разумѣемъ не сущность народную до-Петровскую, и не сущность послѣ-Петровскую, а органическую цѣлость: мы вѣримъ въ Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается послѣ столкновений съ другими жизнями, съ другими народными организмами, послѣ того, какъ она, воспринимая въ себя различные элементы, — дони брала и беретъ, какъ родственные, другіе отрицала и отрицаетъ, какъ чуждые и враждебные... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ очеркомъ, но полно и цѣльно, обозначившаяся душевная фizioномія, фizioномія, выдѣлившаяся, вырѣзавшаяся уже ясно изъ круга другихъ народныхъ, *типовыхъ* фizioномій, — обособившаяся сознательно,

именно вслѣдствіе того, что уже вступила въ кругъ ихъ. Это — напѣ самобытный типъ, уже мѣрившійся съ другими европейскими типами, проходившій сознаниемъ тѣ фазисы развитія, которые они проходили, но боровшійся съ ними сознаниемъ, но вынесшій изъ этого процесса свою фізіологическую, типовую самостоятельность. Показать, какъ изъ всякаго броженія выходило въ Пушкинѣ цѣльнымъ это *типовое*, было бы задачей труда огромнаго. Въ великой натурѣ Пушкина, ничего не исключаящей: ни тревожно-романтическаго начала, ни юмора здраваго разсудка, ни страстности, ни сѣверной рефлексіи, — въ натурѣ, на все отозвавшейся, но отозвавшейся въ мѣру русской души — заключается оправданіе и примиреніе для всѣхъ нашихъ теперешнихъ, повидимому столь враждебно раздвоившихся сочувствій. — Въ настоящую минуту мы видимъ только раздвоеніе. Смѣясь надъ нашими недавними сочувствіями, относясь къ нимъ теперь постоянно критически, мы собственно смѣемся не надъ ними, а надъ ихъ напряженностью. И до Пушкина и послѣ Пушкина, мы въ сочувствіяхъ и враждахъ постоянно пересаливали: въ немъ одномъ, какъ нашемъ единственномъ цѣльномъ геніи, заключается правильная художественно-нравственная мѣра, мѣра уже дознанная, уже окрѣпшая въ различныхъ столкновеніяхъ. Въ его натурѣ — очерками обозначились наши фізіономическія особенности полно и цѣльно, хотя еще безъ красокъ, — и все современное лите-

ратурное движеніе есть только наполненіе красками рафаэлевски-правдивыхъ и изящныхъ очерковъ. — Пушкинъ выносилъ въ себѣ все. Онъ долго, напримѣръ, носилъ въ себѣ въ юности мутно-чувственную струю ложнаго классицизма (эпоха лицейскихъ и первыхъ послѣ-лицейскихъ стихотвореній); изъ нея онъ вышелъ наивенъ и чистъ, да еще съ богатымъ запасомъ живучихъ силъ для противодѣйствія романтической туманности, отъ которой ничто не защищало несравненно менѣе цѣльный талантъ Жуковского. Эта мутная струя въ послѣдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности и, благодаря стройной мѣрѣ его натуры, ни одна словесность не представитъ такихъ чистыхъ и совершенно ваятельныхъ стихотвореній, какъ Пушкинскія. Но и въ этомъ отношеніи, какъ онъ самъ, такъ и все, что пошло отъ него по прямой линіи (Майковъ, Фетъ въ ихъ антологическихъ стихотвореніяхъ), умѣлъ уберечься въ границахъ здраваго, яснаго смысла и здраваго, достойнаго разумно нравственнаго существа, сочувствія. Молодое кипѣніе этой струи отразилось у самого Пушкина въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ молодости, отражалось, благодаря его на половину африканской крови, и въ послѣдующія эпохи стихотвореніями удивительными и пламенными («Нѣтъ, я не дорожу мятежнымъ наслажденіемъ»), которыя, однако, онъ не хотѣлъ видѣть въ печати. Оно обособилось въ пламенномъ Языковѣ, но и тотъ искалъ потомъ успокоенія сво-

ему жгучему лиризму или въ высшихъ сферахъ вдохновенія, или въ созданіяхъ болѣе объективныхъ и спокойныхъ, какова, на примѣръ, «Сказка о сѣромъ волкѣ и Иванѣ царевичѣ», красоту которой, говоря *par parenthèse*, мы потеряли способность цѣнить, избалованные судорожными вдохновеніями современныхъ музъ. Напряженное же, насильственно подогрѣтое клокотаніе этой струи — истощило въ наши времена талантъ г. Щербины, и весьма еще недавно вылилось въ мутно-сладоострастныхъ стихахъ молодого, только что начинающаго поэта, г. Тура; — но не слѣдуетъ по злоупотребленіямъ, противнымъ здравому русскому чувству, умозаключать, что самая струя, въ мѣру взятая, ему противна... Вообще же, не только въ мірѣ художественныхъ, но и въ мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій — Пушкинъ есть первый и полный представитель нашей фizioноміи. Гоголь явился только мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, поэтомъ чисто-отрицательнымъ; симпатій же нашихъ кровныхъ, племенныхъ, жизненныхъ онъ олицетворить не могъ, во-первыхъ, какъ малороссъ, а во-вторыхъ, какъ уединенный и болѣзненный аскетъ» (Сочин. Григ., I т., стр. 238—240). — Кто не согласится, что эта великолѣпная тирада зрѣлаго убѣжденія, широкаго и глубокаго озаренія одного изъ великихъ явленій нашей литературы есть продолженіе, развитіе, движеніе впередъ слѣдующихъ мыслей Бѣлинскаго въ «Литературныхъ

мечтаніяхъ»: «Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чутьемъ и удивительною способностью принимать и отражать всевозможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность вѣковыхъ правилъ, самую мудрость извлеченныхъ изъ писаній *великихъ гениевъ*, и съ удивленіемъ узнавшая о другихъ мірахъ мыслей и понятій и новыхъ неизвѣстныхъ ей до того взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорить, что онъ подражалъ Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ владелъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества, — *но міра русскаго, но человечества русскаго*» (Бѣлинскій. Соч. т. I, стр. 86). Для будущаго критика эти двѣ тирады составляютъ основу томовъ изслѣдованій о нашей литературѣ съ кончины Бѣлинскаго — въ 1848 г. — и Григорьева — въ 1864 г. вплоть до современной эпохи великаго геніальнаго поэта Льва Толстого. Такъ важны и многообъемлющи взгляды, въ нихъ высказанные. Повторимъ еще разъ — послѣ этихъ словъ о Пуш-

кинѣ Григорьевъ могъ ни одной строчки не оставить и все же имя его не можетъ затеряться въ плохое и мало разобранное и расчищенное арсеналѣ литературныхъ знаній о нашихъ произведеніяхъ слова за послѣднія 30—40 лѣтъ. Малая еще культурность нашего общества видна между прочимъ и въ томъ, что оно слабо проникнуто національнымъ самоуваженіемъ. Иначе оно не относилось бы такъ небрежно къ своимъ писателямъ, не забывало бы своихъ *истинныхъ, призванныхъ* и въ большинствѣ даровитыхъ, широко и глубоко образованныхъ учителей. Мы еще не привыкли къ уваженію, признанію и къ памяти чужой мысли. Вотъ чѣмъ объясняется отсутствіе у насъ научнаго духа, а отсюда отсутствіе и философіи. Вы можете много трудиться на поприщѣ наукъ и искусствъ, слабо-слабо прививающихся къ нашему молодому интеллигентному обществу; много думать о жизни, о человѣкѣ, объ окружающемъ васъ, о Богѣ; плоды вашихъ думъ вы можете предать тисненію; въ кои то лѣта можете услышать совершенно случайно печатный взглядъ на смыслъ вашихъ трудовъ; но вы не можете сказать, чтобъ вы не умерли черезъ три четыре года для всего окружающаго васъ общества, чтобъ васъ кто либо удостоилъ вниманія—прочелъ, продумалъ ваши думы.

Участь Григорьева не единичный случай въ исторіи нашей словесности. Удручающій примѣръ для будущихъ работниковъ на поприщѣ нашей ли-

тературы. И вотъ писатель съ такими положительными заслугами какъ будто забыть! Стоитъ ли онъ забвенія — покажетъ намъ память о его жизни въ связи съ его литературною дѣятельностью. Пороемся же въ ней. Жизнь его, какъ и дѣятельность, глубока и поучительна. Дѣятельность же его литературная есть истинное мѣрило любви къ писательскому дѣлу. Кто не подходитъ подъ эту идеальную мѣрку, тотъ пусть оставитъ всякую надежду быть истинно-полезнымъ и замѣченнымъ въ этой области. Мы припоминаемъ Шопенгауэра, сказавшаго, что кто не живетъ всецѣло дѣломъ и только для дѣла, для него единственно, требующаго всего человѣка, нераздробляющагося на человѣка жизни и на писателя, т. е. носителя тѣхъ или иныхъ идей и чувствъ, тотъ рискуетъ даромъ потерять свою жизнь. А. Григорьевъ былъ только писателемъ и больше ничѣмъ, особливо въ тѣ 14—15 лѣтъ (съ начала 50-хъ годовъ до смерти), въ которыя успѣлъ проявиться богатый запасъ его духовныхъ залежей. Возстановимъ эту жизнь по матеріаламъ, оставляя въ сторонѣ перифразъ и пережевываніе ихъ. Часть этихъ матеріаловъ такъ основательно забыта, что услышать ихъ такъ, какъ они начертаны самимъ авторомъ, надѣюсь, будетъ приятно, если не полезно.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ происходилъ изъ дворянской чиновничьей среды. Родился онъ въ Москвѣ на Тверской въ 1822 г. Отрочество

волею судьбы ему пришлось провести въ другой части первопрестольной столицы нашей на Болвановкѣ, а младенчество въ Замоскворѣчѣ. Въ «Мои́хъ литературныхъ и нравственныхъ скитальчествахъ» — драгоцѣннѣйшемъ источникѣ, откуда мы черпаемъ нужный намъ для нашихъ строкъ о немъ матеріалъ (Время 1862 г. 11—12; Эпоха 1864 г. 3 и 5 кн.), Григорьевъ отводитъ большое значеніе факту своего рожденія въ Замоскворѣчѣ. Вѣра и любовь къ своему, родному здѣсь впервые были глубоко заложены въ его душу. Потомъ въ зрѣющія лѣта силы его души искушались сильно; западъ съ его чудесами своего великаго прошлаго, западъ, дразнящій, поднимающій и увлекающій сталъ было искушать Григорьева, на минуту онъ было согнулся, но не сломилась въ этомъ живомъ столкновеніи вѣра въ свое, въ народное. На минуту отдавъ дань увлеченія западничеству, очутившись за границей въ 1857—1858 г., онъ потомъ перешелъ въ того самаго Григорьева, какимъ его сдѣлала сама природа, Григорьева — сочувственника народнаго направленія, сочувственника дѣла братьевъ Достоевскихъ, Страхова и другихъ даровитыхъ нашихъ славянофиловъ. Замоскворѣчье вскормило и вспоило Григорьева. Чѣмъ же оно прельщало его? Въ Замоскворѣчьи, какъ въ Таганкѣ, въ Ордынкѣ, на Болвановкѣ, какъ и въ другихъ отдаленныхъ отъ Кремля на периферіи расположенныхъ частяхъ столицы сосредоточивалась «упрямо старая жизнь», — какъ го-

ворить Григорьевъ въ «Скитальчествахъ». Всѣ эти части, раскидавшіяся за рѣку Москву — разные слободы, вытекшія изъ Кремля. «Въ нихъ уходила изъ подъ вліянія административнаго уровня и въ нихъ, сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневолѣ закисла въ застоѣ». Замоскворѣчье, — вотъ въ этотъ то центръ и уединилась и упрямо замкнулась старая земская жизнь. Не забудемъ, что эпоха 12-го года еще вѣяла въ воздухъ Москвы поры младенчества Григорьева. Не забудемъ также и того, что эпоха предшествующаго XVIII вѣка еще шестила въ воздухъ земской Москвы. Чуткій, впечатлительный ребенокъ Григорьевъ, — отъ него не убѣжала эта старая жизнь нашихъ предковъ и глубоко врѣзывалась въ душу.

Болѣе сознательно дѣтство его началось на Болвановкѣ. Впечатлѣнія этой поры жизни сохранили большое значеніе въ душѣ Григорьева. Но Болвановка не влекла Григорьева. Замоскворѣчье — вотъ что было истинной кормилицей его души. «Не безъ намѣренія напираю я на этотъ мѣстный фактъ моей личной жизни. Быть можетъ силѣ первоначальныхъ впечатлѣній обязанъ я развязкою умственнаго и нравственнаго процесса, совершившагося во мнѣ, поворотомъ къ горячему благоговѣнію передъ земскою, народною жизнью», — говоритъ Григорьевъ по этому поводу (Время 62, 11). Трехъ лѣтъ Григорьевъ помянуть себя хорошо; въ немъ рано развилась реф-

лексія; на это раннее пробужденіе духовной личности Григорьевъ указываетъ въ «Скитальчествахъ» какъ на очень характеристичный по отношенію къ цѣлому современному поколѣнію фактъ; въ эти лѣта онъ уже имѣлъ въ душѣ «свою Аркадію», по которой тосковалъ сильно. Аркадія эта — была богатая жизнь, залитая довольствомъ, въ домѣ дяди у Тверскихъ воротъ, у котораго семейство отца Григорьева жило. Послѣ 12-го года два дома дяди были истреблены огнемъ, — и вотъ источникъ тоски маленькаго внука по утраченной богатой жизни, во многомъ мало похожей на жизнь въ домѣ отца. Общественная катастрофа 25 года, разразившаяся въ то время «страшно, болѣзненно подѣйствовала» на дѣтское чувство ребенка. Съ нѣкоторыми изъ жертвъ этой катастрофы отецъ его былъ знакомъ по университетскому благородному пансіону. Разговоры и рассказы отца про катастрофу въ присутствіи ребенка — безъ сомнѣнія — имѣли не малую долю вліянія на мальчика. «Дѣтей большіе считаютъ какъ-то необычайно глупыми и вовсе не подозрѣваютъ, что вѣдь что же нибудь да отразится въ ихъ душѣ и воображеніи изъ того, что они слышатъ и видятъ. Я, на примѣръ, хотя и сквозь сонъ какъ будто, но очень таки помню, какъ везли тѣло покойнаго Императора Александра и какой то страхъ господствовалъ тогда въ воздухѣ. (А Григорьеву тогда шелъ 3-й годъ). Да, никто и ничто не увѣритъ меня въ томъ, чтобы идеи не были чѣмъ-то органическимъ,нося-

щимся и вѣющимъ въ воздухѣ, солидарнымъ, преемственнымъ...» (стр. 13). То, что вѣяло тогда надъ всѣмъ, то, что встрѣтило Григорьева при самомъ входѣ его въ міръ,— было «разрушенное прошедшее позади, впереди заря безграничнаго небосклона, первые лучи будущаго, и между этихъ двухъ міровъ нѣчто, подобное океану... не знаю что то неопредѣленное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушеніемъ (изъ *Confessions d'un enfant du siècle* Альфреда Мюссе, Время 1862 № 11, стр. 13).—Таковъ очеркъ преддверія впечатлѣній младенчества Григорьева. Но какова была та домашняя обстановка, среди которой росъ онъ? Дѣда своего онъ не помнитъ, но имѣетъ о немъ опредѣленные представленія. Это былъ снимокъ съ героя «Семейной хроники» Аксакова. «Дѣдъ мой въ общихъ чертахъ удивительно походилъ на старика Багрова» (15 стр.). Это былъ типъ кряжевого человека былой эпохи. Пришелъ онъ въ Москву въ полушубкѣ. Пробивалъ себѣ дорогу лбомъ и горбомъ. Благодаря природному уму и энергіи пробилъ ее, ставъ помѣщикомъ и сдѣлавшись большимъ начетчикомъ духовныхъ книгъ, что давало ему силу нерѣдко спорить съ «архіереями». Отличительная черта его жажда къ образованію перешла и къ даровитому внуку. Не прошло мимо дѣда великое нравственное ученіе конца XVIII ст. въ нашемъ обществѣ. Онъ былъ лично знакомъ съ Новиковымъ и имѣлъ множество книгъ, подаренныхъ ему послѣд-

нимъ. Хотя родитель критика не зналъ, былъ ли дѣдъ массономъ или нѣтъ, но лицо, которое имѣло на нашего критика сильное нравственное вліяніе, принадлежавшее къ этому ордену, говорило, что былъ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнна внутренняя черта — дѣдъ былъ съ жаждой къ просвѣщенію: это свидѣлствуетъ оставшаяся послѣ него «большая и дѣльная» библіотека. На чуткую, воспріимчивую, необыкновенно нервную натуру мальчика Григорьева имѣла сильное вліяніе одна изъ тетокъ, — натура страстная и даровитая, не вышедшая замужъ по страшной гордости. У нея даже тонъ былъ постоянно экзальтированный. «Ребенкомъ я отдавался ей рассказамъ, ей мечтамъ о фантастическомъ золотомъ вѣкѣ... Была даже эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда подъ вліяніемъ мистическихъ идей» (очевидно продукты вліянія того неизвѣстнаго намъ лица, принадлежавшаго къ масонской ложѣ) «я вѣровалъ въ какую-то таинственную связь моей души съ душою покойнаго дѣда, въ какую то метаморфозу, не метаморфозу, а солидарность душъ... Нерѣдко возвращаясь ночью изъ Сокольниковъ и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любилъ бродить по Москвѣ по ночамъ, я, дойдя до Церкви Никиты мученика въ Басманной, останавливался передъ старымъ домомъ на углу переулка, первымъ пристанищемъ дѣда въ Москвѣ, когда пришелъ онъ составлять себѣ фортуну и, сядя на паперть часовни, ждалъ по по-

лучасу, не явится ли ко мнѣ старый дѣдъ разрѣшить мнѣ множество тревожившихъ мою душу вопросовъ. На ловца обыкновенно и звѣрь бѣжитъ. Съ человѣкомъ, наклоннымъ къ мистическому, случаются обыкновенно и факты, незначительные для другихъ, но влекущіе его лично въ эту страшную бездну. Раза два въ жизни, и всегда передъ разными ея переломами, дѣдъ являлся мнѣ во снѣ. Дѣло психически очень объяснимое, но питавшее въ душѣ наклонность къ таинственному міру. Суевѣрія и преданія окружали мое дѣтство какъ дѣтство всякаго большой или небольшой руки барченка, окруженнаго большой или небольшой дворней, и по временамъ совершенно ей предоставляемаго». Съ другой стороны отецъ, мать, потомъ дворня — домашняя челядь и, наконецъ, учитель Сергѣй Ивановичъ, семинаристъ медикъ I-го курса Московскаго Университета, приставленный къ семилѣтнему Григорьеву для занятій, — всѣ эти стороны домашней жизни оказали свою долю вліянія на Григорьева. И сдѣлали его человѣкомъ (впослѣдствіи — къ концу жизни, когда онъ любилъ говорить, что онъ человѣкъ ненужный, онъ человѣкъ, «попавшій въ струю жизни, отшедшей и отзучавшей», мало имѣющей общаго съ эпохой 50 и 60-хъ годовъ) находящимся въ кровномъ органическомъ родствѣ съ прошлыми культурными «эпохами» нашей жизни и литературы.

На ряду съ домашними вліяніями дворня зани-

маеть второе мѣсто послѣ дѣда и тетокъ по тому непосредственному на душу вліянію, какое испытывалъ въ дѣтствѣ нашъ критикъ. Вотъ въ какихъ словахъ онъ говорить о ней: «Дворня наша была изъ деревни и съ ней я пережилъ весь тотъ міръ, который съ дѣйствительнымъ мастерствомъ передалъ Гончаровъ въ «Снѣ Обломова» на ряду съ другими впечатлѣніями. Когда наѣзжали родные изъ деревни, съ ними прибывали нѣкоторые члены тамошней обширной дворни и поддавали жару моему суевѣрному или лучше сказать фантастическому настрою новыми разсказами о тамошнихъ козлахъ, босящихся въ полночь на мостикѣ къ селу Малахову, о кладѣ въ Кириковскомъ лѣсу, о колдунѣ, мужикѣ, зарытомъ на перекресткѣ. Да прибавьте еще къ этому старика дѣда, брата бабушки, который впоследствии, когда мнѣ уже было десять лѣтъ, жилъ у насъ со мной на мезонинѣ, читалъ все священные книги и молился, даже на молитвѣ и умеръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый вечеръ разсказывалъ съ полнѣйшею вѣрою исторіи о мертвецахъ и колдунахъ, да прибавьте еще двоюродную тетку, которая была воплощеніе простоты и доброты, умѣвшую лѣчить домашними средствами всю окрестность, которая никогда не лгала, и между тѣмъ сама по ея разсказамъ видала виды. На безобразно нервную натуру мою этотъ міръ, полный суевѣрій, подѣйствовалъ такъ, что въ четырнадцать лѣтъ, напивавшись еще кромѣ того Гофманомъ, я

истинно мучился по ночамъ на своемъ мезонинѣ, гдѣ спалъ я одинъ съ Иваномъ или Ванюшкой, который былъ моложе меня годомъ. Лихорадочно, тревожно прислушивался я къ бою часовъ, а они при томъ шипѣли и сопѣли страшно, неистово и засыпалъ только послѣ двѣнадцати, послѣ крика предразсвѣтнаго пѣтуха. Съ лѣтами это прошло, нервы поогрубѣли, но знаете ли, что — я дорого далъ бы за то, чтобъ снова испытать также нервно это сладко-мучительное, болѣзненно дразнящее настроеніе, эту чуткость къ фантастическому, эту близость иного страннаго міра... Вѣдь [фантастическое вѣчно въ душѣ человѣческой, и стало быть, такъ какъ я только въ душу и вѣрю, въ извѣстной степени законно. (Время 1862, 11 кн. 18 стр.). Не одинъ міръ суевѣрій дворни развилъ въ Григорьевѣ раннее отношеніе къ народу. Народъ коснулся его и своей темной стороной — какъ продуктомъ вѣкового рабства. Именно — не мало было мутнаго во вліяніи дворни на мальчика. Рано, даже слишкомъ рано пробуждены были во мнѣ половые инстинкты и постоянно только раздражаемые и неудовлетворяемые давали работу необузданной фантазіи, рано также изучилъ я всѣ тонкости крѣпкой русской рѣчи (19). Тѣмъ не менѣе была «хорошая, святая сторона», и въ этомъ содружествѣ съ народомъ. Благодушіе и простой взглядъ родителей на близкія отношенія сына къ дворнѣ, сослужили большую службу впечатлительному мальчику, отъ зоркаго глаза и от-

звычайнаго чувства котораго не ускользало ни малѣйшее явленіе въ дворовой жизни и ни малѣйшее настроеніе ея. «Я съ дворовыми жилъ совершенно интимно. У нихъ отъ меня секретовъ не было, ибо они знали, что я ихъ не выдамъ. Лѣтъ же 14—15 даже я запиралъ двери за Иваномъ, уходившимъ «въ ночную» къ своимъ любовницамъ, и отпиралъ ихъ ему къ заутрени; уже студентомъ привозилъ нѣсколько разъ, самъ правя лошадыю, кучера Василья въ своихъ объѣздахъ позднимъ вечеромъ, тихонько отворяя ворота. И они любили меня, разумѣется по своему (22 стр. Времени 1862—11 кн.). Это близкое сердечное содружество съ народомъ, частью его испорченнымъ элементомъ, оказало влияние на Григорьева; оно дало возможность глубоко заглянуть въ народную душу и замѣтить основную стихію ея—простоту, связанную узломъ съ глубокой вѣрой; оно открыло ему высокую природу русскаго человѣка. «А много, всетаки много обязанъ я тебѣ въ своемъ развитіи. безобразная, распущенная, своекорыстная дворня... Нѣтъ—мало пѣсенъ народа мнѣ чуждыхъ: звучавшія дѣтскому уху, онѣ отдались какъ старыя, знакомыя въ поздней молодости, онѣ, на время забытыя, пренебреженныя, погребенныя даже какъ старыя книги дѣда возстали потомъ въ душѣ во всей ихъ непосредственной красотѣ. Во всѣ народныя игры игрывалъ я съ нашею дворнею на широкомъ дворѣ: и въ бую, и въ лапту, и даже въ чехарду, когда случалось, что отецъ и

мать уѣзжали изъ дому въ гости и не брали меня; всѣ басни народнаго животнаго эпоса про лисицу и волка, про лисицу и пѣтуха, про житье-бытье пѣтуха, кота и лисицы въ одномъ домѣ — переслушала я въ осеннія сумерки отъ деревенской дѣвочки Марины, взятой изъ деревни собственно для забавы мнѣ, — лежа, закутанный въ шубку, въ старомъ ларѣ въ сараѣ... Наѣзжали порою мужики изъ бабушкиной деревни. Вотъ тутъ то еще больше наслушался я диковинныхъ разсказовъ, постоянно уже проводя все время съ мужиками на кухнѣ. Всѣхъ я ихъ зналъ по разсказамъ, многихъ лично; со мной они, предупрежденные дворней, не чинились и не таились... Ужасно я любилъ ихъ, и провожая почтенныхъ мужиковъ, какъ староста Григорій поминать въ своихъ дѣтскихъ молитвахъ, послѣ родныхъ ближайшихъ окружающихъ». — (Время 1862, кн. II, стр. 23). Вотъ часть внутренней домашней обстановки, которая нарѣзывала на душѣ Григорьева неизгладимые слѣды. Жизнь, окружавшая его въ дѣтствѣ въ Замоскворѣчѣ и на Болвановкѣ была на половину дворянская, на половину жизнь стрюцкихъ, «ибо отецъ мой служилъ, и служилъ въ одномъ изъ такихъ присутственныхъ мѣстъ, въ которыя не проникалъ уровень чиновничества, въ которомъ бражничало, дѣлало дѣло и властвовало подъячество. Эта жизнь «стрюцкихъ» соприкасалась множествомъ сторонъ съ жизнью земщины (26 стр. Врем. 62, 11 кн.). Что же представляла семья отца

критика? Посмотримъ, что за характеры были отецъ и мать его. Вліяніе ихъ, въ особенности отца, было также сильно. А встѣдъ за тѣмъ посмотримъ, что за человѣкъ былъ учитель критика, занимавшійся съ нимъ и жившій въ домѣ его родителей. И онъ не малую долю вліянія внесъ въ развитіе юноши своимъ ежедневнымъ общеніемъ съ нимъ: «Въ матери моей было въ высокой степени развито чувство самой строгой справедливости; съ десяти лѣтъ моего возраста я уже не помню ее здоровою. Что за болѣзнь началась у ней и продолжалась до самой ея смерти, я не знаю. Даже наружность ея измѣнялась: глаза въ нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, желтыя пятна выступали на нѣжномъ лицѣ, появлялась на тонкихъ губахъ зловѣщая улыбка, и тогда забывалось всякое чувство справедливости. Въ такія минуты настроенія ея духа мать, будетъ неумолчно и ядовито точить во все долгое время ея чая и не менѣе долгое же время чесанья волосъ моихъ частымъ гребнемъ, прибирая самыя ужасныя и оскорбительныя для моей гордости слова. Совершенно лишенная образованія, читавшая даже по складамъ, хотя отъ природы одаренная замѣчательнымъ здравымъ разсудкомъ и даже эстетическимъ чутьемъ, она пѣла очень хорошо по слуху. Бѣдная мать моя совершенно извращена была ужасной болѣзью. Во время приливовъ или припадковъ этой болѣзни, свѣтлыя, хорошія стороны ея личности исчезали,

свойства, въ умѣренномъ видѣ хорошія, какъ примѣръ хозяйственная заботливость и расчетливость, переходили въ ужасныя крайности. Неудовлетворенное, обиженное судьбою самолюбіе даровитой, но лишенной средствъ развитія личности выступало одно на мѣсто всѣхъ душевныхъ качествъ. А бывали минуты, — увы! чѣмъ далѣе шла жизнь, тѣмъ становились онѣ рѣже, — когда она какъ будто свѣтлѣла и молодѣла. Прекрасныя и тонкія черты ея лица прояснялись, не теряя, впрочемъ, никогда нѣкоторой строгости не строгости, и какой то грустной серьезности, движенія теряли рѣзкость и становились гибкими, голосъ, болѣзненно подорванный, звучалъ благородными контральтовыми звуками. О, какъ я любилъ ее въ эти рѣдкія минуты! Откуда являлось у нея вдругъ столько женственного такта въ разговорѣ съ посторонними, такое отсутствіе выжимокъ и ужимокъ, оцѣпываній и одергиваній, отличавшія ее рѣзко отъ другихъ барынь нашего круга, барынь, походившихъ большею частью на мать Хорькова въ «Бѣдной Невѣстѣ». (Вр. 62, II кн. стр. 20). Иной характеръ представлялъ отецъ. — Отецъ его былъ питомецъ Университетскаго Благороднаго Пансіона, товарищъ Жуковского и Тургенева по пансіонскому воспитанію. Человѣкъ съ весьма свѣтлымъ умомъ и съ такимъ благодушіемъ, что привязаться легко было къ нему; онъ однако сохранялъ наслѣдственныя черты «багровщины» Григорьевской. «Багровщина» эта была нѣчто фи-

зіологическое, дань чему-то родному, нѣчто совсѣмъ (временами) бѣшенное и неистовое, нѣчто такое, приливы чего, «я самъ конечно по другимъ поводамъ чувствовалъ иногда въ себѣ и чему тоже отдавался какъ звѣрь. Съ лѣтами въ немъ эти приливы неистовства становились все рѣже и рѣже. Онъ былъ и лицомъ и характеромъ похожъ на свою мать, мою бабушку, — бабушку, которую знать я только старушкою и которая всегда являлась мнѣ невозмутимо-краткою, спокойною, глубоко, но никакъ не до ханжества благочестивою, съ разумнымъ словомъ, съ вѣчною, до крайности даже нѣжною и безпокойною заботливостію о своихъ бѣдныхъ дочеряхъ, моихъ старыхъ теткахъ, съ благоговѣйною памятію о своемъ строгомъ и не всегда ровномъ Иванѣ Григорьевичѣ и съ явными слѣдами на своей натурѣ вліянія это кряжевой личности, слѣдами, очевидными въ ея здравыхъ религіозныхъ понятіяхъ, въ ея твердой вѣрѣ въ справедливость... Да, по многому въ правѣ я заключить, что далеко недюжинный человѣкъ былъ дѣдъ». (Вр. 62, II кн. стр. 21). Образованіе его отца было, хотя и поверхностное, но въ извѣстной степени «полное и энциклопедическое образованіе той эпохи». (Эпоха 64 г. 5 кн. 160 стр.) «Образованіе это заглохло безъ пользы для него и для другихъ. По натурѣ онъ былъ юмористъ и юмористъ, какъ всякій русскій человѣкъ, безпощадный. Собственно говоря, и щадить ему было нечего. Идеала жизненнаго и моральнаго передъ

нимъ не стояло никакого; пласть людей, современныхъ ему и тревожно искавшихъ идеала, отыскивалъ его уже въ это время быть можетъ «во многихъ пропастьяхъ земли»; онъ принадлежалъ къ благо-разумному большинству. Это благоразумное большинство воспитанія той эпохи оставило намъ наивный и, по наивности своей, драгоценный памятникъ «Дневникъ Студента». «Если читатели не знакомы съ этой замѣчательной, по своей безыскусственности книгою, совѣтую имъ прочесть; духъ отцовъ нашихъ, вызвавшій пламенное бичеваніе Грибоѣдова, двинется въ немъ. Отецъ мой смѣялся, или, лучше сказать, потѣшался добродушнѣйшимъ образомъ надъ всякимъ чувствомъ, любилъ натравливать на чувства всякаго, въ комъ онъ подмѣтилъ какую либо впечатлительность, и въ моемъ наставникѣ имѣлъ для себя субъектъ, не оцѣненный по этой части, влюбляя его каждый мѣсяцъ и разъяря его ежедневно. Онъ даже чувствовалъ какую-то антипатію къ личностямъ сколько-нибудь серьезнымъ и не поддававшимся на его удочку. Надъ Сергѣемъ Ивановичемъ (наставникомъ критика) онъ имѣлъ огромное вліяніе Сергѣй Ивановичъ слушался его во всемъ «и въ любовныхъ своихъ нахожденіяхъ и даже въ костюмировкѣ, тоже не замѣчая по добродушію и самолюбію, что въ любовныхъ своихъ интригахъ онъ былъ его шутомъ, а въ костюмировкѣ и манерахъ могъ избрать себѣ менѣе отсталаго руководителя. Но посудите сами, какъ же было ему, семинаристу мягкаго типа, крайне

падкому до образованія не слухаться человѣка, который говорилъ по французски и учился въ благородномъ пансіонѣ? (Вр. 62, 12 кн., стр. 383—384). Человѣкъ мягкаго типа, отецъ Григорьева терпѣть не могъ ничего буйнаго, залетнаго, молодецки-ухарскаго, ставящаго жизнь на карту. «Буйства, буйства въ различныхъ его проявленіяхъ, неуваженія къ существующему, боялся мой отецъ. Вотъ чего! Запуганный съ измальства кряжевымъ деспотизмомъ кряжевого человѣка, каковъ былъ мой дѣдъ, хоть не физически, но морально-забитый до того, что онъ изъ благороднаго пансіона никакихъ впечатлѣній не вынесъ, кромѣ стихотворенія «Танцовавший танцевалъ, а сундукъ въ углу стоялъ», никакихъ воспоминаній, кромѣ строгости инспектора барона Девильдье, разошедшійся почти тотчасъ же по выходѣ изъ заведенія съ товарищами, изъ которыхъ многіе стали жертвой катастрофы и ошеломленный этой катастрофой до ея положительнаго непониманія, онъ, если не былъ убѣжденъ въ томъ, что ученость — «вотъ чума, ученость — вотъ причина», зато вполнѣ чувствовалъ глубокій смыслъ пословицы: что «ласково телятко двѣ матки сосеть». И, какъ разсудочно умный человѣкъ, инстинктивно глубоко разумѣлъ смыслъ нашей общественной жизни, гдѣ люди дѣлились тогда очень ярко на двѣ категоріи: на людей «большихъ» и людей «маленькихъ!...» «Ну, большому кораблю большое плаваніе, а маленькіе люди всячески должны остерегаться

буйства (Эпоха 1864, 3 кн., 123 стр.). Вообще со стороны духовной отецъ его представлялъ собою типъ умнаго дюжиннаго человѣка первоначальной Карамзинской эпохи. Полнѣе очеркъ его духовной личности представится немного ниже. Тутъ-то и скажется сущность его вліянія на сына. Таковы впечатлѣнія, вынесенныя Григорьевымъ изъ домашней обстановки. Но какая была полоса времени, когда Григорьевъ родился и закончилъ свое университетское образованіе? Согласимся считать временемъ, воспитавшимъ Григорьева, полосу двадцатилѣтія съ начала 20-хъ годовъ (когда Григорьевъ родился) и до начала 40-хъ годовъ (когда онъ кончилъ курсъ юридическихъ наукъ въ Московскомъ Университетѣ). Мы въ началѣ сказали, что въ продолженіе полныхъ 32-хъ лѣтъ Григорьевъ жилъ подъ вліяніемъ литературы. Изъ нихъ почти 15 послѣднихъ лѣтъ жизни онъ самъ давалъ направленіе ей, остальные же 17 лѣтъ онъ переживалъ разные «вѣянія» предшествовавшихъ расцвѣту его дѣятельности эпохъ. Въ чемъ же заключались эти вѣянія? Что дѣлали старые литературные и публицистическіе авторитеты предшествующаго столѣтія? Новиковъ умеръ въ 1818 г., Карамзинъ, поглощенный съ 1803 г. исторической наукой, въ 1826 г., Державинъ въ 1816 г., Херасковъ въ 1807 г., Богдановичъ въ 1803 г., Капнистъ въ 1824 г., Дмитриевъ въ 1837 г. (подъ конецъ жизни ничего не писавшій), Озеровъ въ 1816 г. (тоже ничего не писав-

мій подь конецъ жизни). Всѣ эти писатели дожи-
вали свой вѣкъ, уступивъ поле дѣятельности поды-
мавшемуся и оперявшемуся молодому генію. Пуш-
кинъ зрѣлъ въ Царскосельскомъ лицѣѣ. Съ бла-
гословенія семидесяти двухъ лѣтняго старца Де-
ржавина Пушкинъ вступилъ на арену русской
литературы и наполнилъ собою все то двадцати-
лѣтіе, которое воспитало Григорьева. Появленію Пуш-
кина предшествовало появленіе трехъ яркихъ даро-
ваній Жуковского, Батюшкова и Крылова. Это были
предтечи Пушкина. Съ Пушкинымъ появилась плеяда
другихъ поэтическихъ дарованій, ярче отгѣнявшихъ
своими красками, свѣтомъ и тѣнями золотой вѣкъ
русской изящной литературы. Плеяда эта была:
Веневитиновъ, Дельвигъ, Баратынскій, Языковъ,
Козловъ, Полежаевъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, Го-
голь, Кольцовъ, Тютчевъ, Подолинскій, Рылѣевъ,
Грѣдичъ, Бестужевъ, кн. Вяземскій, Давыдовъ, За-
госкинъ, Кюхельбекеръ, кн. Одоевскій, Лажечниковъ,
Плетневъ. Особенными эксцентриками выдѣлялись
въ это двадцатилѣтіе два геніальныхъ дарованія,
объяснявшихъ своему времени значеніе совершав-
шихся важныхъ дѣлъ поэзіи и литературы, — это
были Полевой и Бѣлинскій. Первый основываетъ
«Телеграфъ» съ 1824 г. по 1834, создаетъ критику
художественныхъ произведеній и ведетъ упорную
борьбу со старыми авторитетами, а другой съ
1834 г. «Литературными мечтаніями» вколачиваетъ
новую вѣху въ исторію развитія русской литера-

туры и отъ нея ведетъ свое новое слово о ней. Борьба романтизма съ классицизмомъ — вотъ гений той эпохи. Кромѣ литературныхъ теченій въ обществѣ шло теченіе философское. На Западѣ въ это самое время царилъ Гегель. Вліяніе философіи Шеллинга проникало въ общество благодаря двумъ проводникамъ: каеэдрѣ и журналистикѣ. Въ то время Московскій университетъ былъ центромъ и очагомъ умственной жизни Россіи. Шевыревъ, Погодинъ, Надеждинъ — филологи и Павловъ — физикъ проводили съ каеэдры идеи Шеллинга. Извѣстенъ студенческій кружокъ 30-хъ годовъ, средоточіемъ котораго былъ прекрасный Станкевичъ. Извѣстно также и то, что этотъ кружокъ образовался подъ вліяніемъ профессоровъ университета, и что въ этотъ кружокъ входили Аксаковъ, Катковъ, Клюшниковъ, подъ буквой — *Θ* — печатавшій свои статьи, Красовскій, Бѣлинскій и другіе, а въ журналистикѣ яркими убѣжденными представителями Шеллингизма были «Телеграфъ» (Полевой), «Московскій Вѣстникъ» съ 1827 по 1830 г., основанный по инициативѣ Веневитинова, а послѣ смерти его поддержанный Погодинымъ, «Европеецъ» Кирѣевскаго, просуществовавшій слишкомъ мало и запрещенный въ годъ основанія за статью самого Кирѣевскаго «XIX в.», «Телескопъ» съ приложеніемъ «Молвы» Надеждина съ 1831 по 1836 г., запрещенный за извѣстное письмо Чаадаева и, наконецъ, послѣдній органъ Шеллингизма «Московскій Наблюда-

тель» подъ редакціей Шевырева и Андросова съ 1835 до 1838 г., съ 1838 по 1839 г. перешедшій подъ редакцію Бѣлинскаго, увлекавшагося уже новымъ философскимъ теченіемъ Гегелизма и сдѣлавшійся проводникомъ идей Гегеля правой стороны. Кромѣ этихъ вѣяній эпохи въ воздухѣ этого двадцатилѣтія шуршало иное вѣяніе: борьба романтизма съ классицизмомъ — съ этимъ наслѣдіемъ литературы прошлаго вѣка. Борьба классицизма и философская мысль — такова была духовная атмосфера молодого поколѣнія, вышедшаго въ міръ вмѣстѣ съ Пушкинымъ или десятилѣтіемъ позже. Вотъ чѣмъ оно питалось и вотъ что подготовило между прочимъ всего Бѣлинскаго, все содержаніе, такъ называемыхъ «сороковыхъ годовъ». Этого великаго культурнаго движенія русской мысли и пріобрѣлся Григорьевъ, какъ юный и свѣжій членъ новаго поколѣнія. Въ тѣхъ же драгоцѣннѣйшихъ литературныхъ и нравственныхъ скитальчествахъ Григорьева мы имѣемъ свидѣтельство того, чѣмъ жило поколѣніе сверстниковъ наставника нашего критика — Сергѣя Ивановича. А Сергѣй Ивановичъ былъ студентъ медицинскаго факультета низшихъ курсовъ, жившій на урокъ у Григорьевыхъ. Товарищи его, приходившіе къ нему въ гости, были люди смирнаго типа, буйные среди нихъ выпроваживались изъ дому, мало нужды, что они пришли къ товарищу; такова была уже власть надъ Сергѣемъ Ивановичемъ, которую взялъ отецъ Григорьева. «Но какимъ образомъ и

этотъ кружокъ посредственностей задѣвали жизненные вихри, какими образомъ вѣянія эпохи не только что касались ихъ, но нерѣдко и уносили за собою, конечно только умственно. Вѣдь дѣло въ томъ, что, если оживлялась бесѣда, то не о выгодныхъ мѣстахъ и будущихъ карьерахъ говорилось... Говорилось, и говорилось съ азартомъ, о самоучкѣ Полевомъ и о его «Телеграфѣ» съ романтическими стремленіями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась въ безчисленныхъ альманахахъ той наивной эпохи, съ какой-то лихорадочностью произносилось ими «Лордъ Байронъ»... изъ устъ въ уста переходили дикія и порывистыя стихотворенія Полежаева. Когда произносилось это имя и — очень рѣдко конечно — нѣсколько другихъ еще болѣе отверженныхъ именъ, какой-то ужасъ овладѣвалъ кругомъ молодыхъ людей и вмѣстѣ что-то страшно соблазняющее, недолимо влекущее въ этотъ ужасъ, а если въ торжественные дни именинъ, рожденій и иныхъ разрѣшеній «вина и елея» компанія доходила до нѣкотораго искусственно приподнятаго настроенія, то неопредѣленное чувство суевѣрнаго и вмѣстѣ обаятельнаго страха смѣнялось какою-то отчаянною наивною симпатіею и къ рѣчамъ тѣмъ, которыхъ «значеніе темно или ничтожно, но имъ безъ волненія внимать не возможно, и къ тѣмъ людямъ, которые или «жгли жизнь» беззавѣтно или дерзостно ставили ее на карту. Слышались какія-то странныя, какія-то какъ будто и не свои рѣчи изъ устъ

этихъ благонаправныхъ молодыхъ людей... Какимъ образомъ даже въ трезвыя минуты передавали они другъ другу рассказы объ ихъ странныхъ товарищахъ, отдававшихъ голову и сердце до нравственнаго запоя Шеллингизму, или всю жизнь свою бснованію страстей! Въдъ всѣ они, благонаправные молодые люди, знали очень хорошо, что отдача себя въ полное обладаніе силъ такого мышленія ни къ чему хорошему поведи не можетъ. Нѣкоторые пытались даже нѣсколько юмористически отнестись къ философекому или жизненному бснованію — что дескать «умъ за разумъ у людей заходить» и все-таки поддавались лихорадочно обаянію. Не «Вѣстникъ Европы», а «Телеграфъ» съ его неясными, но живыми стремленіями жадно разрѣзывала молодежь... не профессоровъ стараго закала слушала со вниманіемъ, а фанатически увлекалась, увлекалась до «Аутосъ эфе» широтою литературныхъ взглядовъ Надеждина (тогда еще высказываемыхъ имъ только на лекціяхъ), фантастическимъ, но много сулившимъ міропостроеніемъ Павлова, въ его физикѣ. И, такъ какъ эта молодежь почти что вся за исключеніемъ одного, будущаго труженика исторіи, была молодежь медицинская, увлекалась пѣніемъ своей сирены Дядьковского. Это имя всякій день звучало у меня въ ухахъ; оно было окружено раболѣпнѣйшимъ уваженіемъ и оно же было именемъ борьбы живой новой науки съ старой рутиной. Не могу я, конечно, какъ не специалистъ, хорошо знать заслуги

Дядьковского, но знаю только, что далеко за обычный звонокъ простирались его бесѣды и что эти люди, безъ всякаго исключенія, заслушивались его «властнаго» слова, какъ въ послѣдствіи мы, люди послѣдующаго поколѣнія, тоже далеко за урочный звонокъ жадно приковывались глазами и слухомъ къ кафедрѣ, съ которой немощко съ рѣзкими эффектами, немощко, пожалуй, съ шарлатанизмомъ звучало намъ слово, наслѣдованное отъ великаго берлинскаго учителя. Какимъ образомъ, повторю еще, людей, которыхъ ждала въ будущемъ тина мѣщанства или много, много, что участь быть постоянными «пиво-грызами», тогда всевластно увлекали вѣянія философіи и поэзіи, новыя, дерзкія стремленія науки, которая гордо строила цѣлый міръ однимъ трансцендентальнымъ мышленіемъ изъ одного всеохватывающаго принципа. Соблазнъ, страшный соблазнъ носился въ воздухѣ, звучавшемъ страстно сладкими строфами Пушкина. Соблазнъ рвался въ нашу жизнь вихрями юной французской словесности. Поколѣніе, выросшее, не искало точки покоя или опоры, а только соблазнялось тревожными ощущеніями. Поколѣніе, подраставшее, надышавшись отравленнымъ этими ощущеніями воздухомъ, жадно хотѣло жизни, страстей, борьбы и страданій». Съ другой стороны доживало свой вѣкъ старое поколѣніе отца и уносило съ собой въ тотъ міръ свои симпатіи; оно глухо относилось къ современному новому». Вотъ какими чертами рисуешь Григорьевъ теченіе от-

живавшаго поколѣнія. «Перенесемтесь въ конецъ двадцатыхъ годовъ и начало тридцатыхъ годовъ. На сценѣ передъ нами, во первыхъ, великая и вполне уже почти очерченная фizioномія перваго дѣльнаго выразителя нашей сущности Пушкина. Онъ дозрѣлъ уже до «Полтавы» въ его портфель уже лежитъ, какъ онъ (по преданіямъ) говорилъ «сто тысячъ и безсмертіе», т. е. комедія о Борисѣ Годуновѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ, но еще чисто романтическимъ ореоломъ озаренъ его ликъ, еще Байрона видитъ въ немъ молодежь, еще онъ не улыбался добродушно и вмѣстѣ саркастическою улыбкою Ивана Петровича Бѣлкина, «не повѣствоваль съ карамзинской торжественностью» и вмѣстѣ съ необычайнымъ тактомъ дѣйствительности объ историческихъ судьбахъ обитателей села Горохина, не вглядывался глубоко-симпатично въ жизнь какого нибудь станціоннаго смотрителя. Онъ, идолъ молодого поколѣнія, но въ сущности молодое поколѣніе видитъ его не такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ, ждетъ отъ него не того, что онъ самъ дать намѣренъ. Если бы оно обладало даромъ предвѣдѣнія, это тогдашнее молодое поколѣніе съ ужасомъ отступило бы отъ своего идола. Оно прощаетъ ему комическій разсказъ о Нулинѣ, даже готово въ этомъ первомъ простомъ изображеніи нашей дѣйствительности видѣть романтическое, но оно не проститъ ему повѣстей Бѣлкина... У тогдашняго молодого поколѣнія есть предводитель, есть живой

органъ, на лету подхватывающій жадно все, что носится въ воздухѣ, даровитый до гениальности самоучка, ясно и страстно передающій всё вѣяніе жизни, увлекающійся самъ и увлекающій за собою другихъ... «купчишка Полевой», какъ съ пѣной у рта зовутъ его съ одной стороны безсильные старцы, а съ другой литературные аристократы. Потому есть и тѣ и другіе. Еще здравствуетъ и даже издаетъ свои журналы и поколѣніе, воспитавшееся на выспренныхъ одахъ—старцы въ котурнахъ и поколѣніе, пропитанное насквозь Бѣдной Лизой Карамзина, старцы «въ бланжевыхъ чулкахъ», которые послѣ Бѣдной Лизы переварили только развѣ «Людмилу» Жуковского и, какъ предсѣдатель палаты въ «Мертвыхъ душахъ», читають ее съ зажмуренными глазами и съ особеннымъ удареніемъ на словѣ «чу»! У нихъ не только купчишка Полевой, но даже профессоръ Мерзляковъ считается, по крайней мѣрѣ у первыхъ, еретикомъ за критическіе разборы Сумарокова, Хераскова и Озерова... Для нихъ опять таки, въ особенности для первыхъ, нѣтъ иной литературы, кромѣ литературы «выдуманныхъ сочиненій», между ними самими, т. е. между дрянными котурнами и полинявшими бланжевыми чулками идетъ смертельная война за Карамзина, предмета ужаса для учениковъ и послѣдователей автора книги «о старомъ и новомъ слогѣ», кумира для бланжевыхъ чулковъ, доходящихъ въ лицѣ Иванчина Писарева до идолопоклонства самого омерзи-

тельнаго. Есть и аристократы литературные, группирующіеся около Жуковского и Пушкина. Они образованы, какъ европейцы, лѣнны, какъ русскіе баричи, щепетильно опрятны въ литературныхъ вкусахъ, какъ какая нибудь англійская миссъ, что не мѣшаетъ имъ впрочемъ писать стихи большею частію соблазнительнаго содержанія и знать наизусть «опаснаго сосѣда» В. Л. Пушкина. Есть наконецъ еще кружокъ враговъ Полевого, кружокъ, образовавшійся изъ молодыхъ ученыхъ, какъ Погодинъ и Шевыревъ, изъ выдѣлившихся по серьезности закваски аристократовъ, какъ Хомяковъ, тогда еще только поэтъ, и Кирѣевскій. Эта немногочисленная кучка, выступившая на поприще дѣятельности блистательною статьею И. В. Кирѣевского въ альманахѣ «Денница» и сосредоточившаяся въ «Московскомъ Вѣстникѣ», тяготя по преимуществу къ Пушкину и отчасти къ Жуковскому, связана съ кругомъ аристократовъ литературныхъ, но находится въ самыхъ неопредѣленныхъ отношеніяхъ къ старцамъ — котурнамъ и старцамъ — бланжевымъ чулкамъ: почтеніе къ преданіямъ связываетъ ее съ ними, культъ Пушкина разъединяетъ. Но за то въ одномъ она съ ними вполне сходится — во враждѣ къ Полевому. Аристократы литературные и самъ Пушкинъ держатся въ сторонѣ отъ этой борьбы. Даже стихотворенія Пушкина и его друзей появляются временами въ плебейскомъ Телеграфѣ, но старцы и уединенный кружокъ свирѣпствуютъ

«(Эпоха, 64 г. 3 кн. 136—138) О дѣятельности». Полевого какъ ловца всѣхъ новыхъ вѣяній жизни и говорить нечего... Статьи о Гете и Байронѣ и другихъ корифеяхъ современной тогдашней литературы, ознакомленіе читателей съ судьбами литературъ романскихъ, культъ Шекспира, Данта и прочее... переводы Гофмана, разборы всего новаго въ юной французской словесности, смѣлое благоговѣніе передъ Гюго, наконецъ возможные толки о государственныхъ устройствахъ цивилизованныхъ народовъ и посильные, положимъ, хоть и по Кузену, толки о Кантѣ, Фихте, Шеллингѣ и Гегелѣ; перехватъ всякой новой, живой мысли, сочувствіе всякому новому явленію въ жизни и искусствѣ, азартное увлеченіе всякимъ новымъ міровымъ вѣяніемъ—вотъ что такое Телеграфъ. Мудрено ли, что имъ увлекалось все молодое и свѣжее, сначала какъ дѣльное, а потомъ и не совсѣмъ дѣльное молодое и свѣжее. Потомъ дѣльное отошло. Что же этому, во всякомъ случаѣ и прежде всего живому направленію противопоставляли его ожесточенные враги? Старцы—оды Державина, поэмы Хераскова и творенія Максима Невзорова. Популярный вождь благоговѣль, даже излишне благоговѣль передъ «потомкомъ Багрима», написалъ даже впослѣдствіи къ Щукинскому изданію сочиненій пѣвца Фелицы довольно ерундистую статью, а надъ Херасковымъ тѣшился уже Мерзляковъ, а отъ «нравственности»

Максима Невзорова претило молодое поколѣніе. Бланжевыя чулки возились съ «Бѣдной Лизой» и «Натальей, боярской дочерью», но, во первыхъ, молодому поколѣнію было ужъ очень хорошо извѣстно, что самый «Лизинъ прудъ» за Симоновымъ, вовсе не Лизинъ прудъ, а Лисій прудъ, а потомъ, какое ему было дѣло до «Бѣдной Лизы», когда оно жадно упивалось въ «Телеграфѣ» повѣстями моднаго писателя Марлинскаго, окруженнаго въ его глазахъ двойнымъ ореоломъ, таланта и трагической участи. Какое дѣло было ему до «стоновъ сизаго голубка», воспѣваемыхъ его «высокопревосходительствомъ» И. И. Дмитріевымъ, когда чуть что не каждую недѣлю «Московскія Вѣдомости» печатали въ объявленіяхъ о выходящихъ книгахъ, объявленія о новыхъ поэтахъ Пушкина или Баратынскаго, о разныхъ альманахахъ, гдѣ появлялись опять таки эти же славныя, или и менѣе славныя, но все таки любимыя молодежью, имена. Разумѣется, что уже не только на «Сѣверныя цвѣты» накидывалась она, тогдашняя молодежь, не только что старую «Полярную Звѣзду» переписывала въ свои заветныя тетрадки, но всякую новую падалъ вродѣ «Цефія», «Вѣнка», или, какъ шутилъ самъ издатель въ предисловіи, «Вѣнка грацій», пожирала. И понятное совершенно дѣло. Въ какомъ нибудь несчастномъ «Вѣнкѣ» она встрѣчала одинъ изъ прелестныхъ разсказовъ Томаса Мура. «Лалла Рукъ», «Покровенный пророкъ Хорасана», какой нибудь переводъ, разумѣется, посильный, изъ

Гете и Шиллера, или изъ Ламартина и Гюго. Не Россиадами, а альманашиками потчивали. А старцы — котурны и старцы бланжевые горячились, изъ себя вонъ выходили и въ «Вѣстникъ Европы» и въ нѣжной «Галатеѣ» и еще болѣе нѣжномъ «Дамскомъ Журналѣ» князя Шаликова и разумѣется, какъ всегда со старцами испоконъ вѣка бывало, проигрывали дѣло... Что наконецъ могъ противопоставить живому направленію «Телеграфа» и тѣсный кружокъ Аксакова и солидарный съ нимъ во многомъ, но болѣе обширный кружокъ, столпившійся въ «Московскомъ Вѣстникѣ»?.. Правда, этотъ послѣдній кружокъ не возставалъ противъ великаго явленія въ литературѣ, противъ Пушкина, былъ въ связи съ сателлитами блестящей планеты, но вѣдь не перещеголялъ же онъ «Телеграфъ» въ поклоненіи общему идолу и въ другихъ отношеніяхъ; въ своей ожесточенной враждѣ и борьбѣ съ Полевымъ, онъ старался напротивъ перещеголять старцевъ въ котурнахъ и самый «Вѣстникъ Европы» площаднымъ цинизмомъ статей объ Исторіи Русскаго народа. (Эпоха 1864, 3 кн., 144—145). — Вотъ та духовная атмосфера, которой дышалъ нашъ критикъ. Она вспоила его мысль. Одно изъ послѣднихъ по количеству и сильныхъ по качеству, принесшихъ великую услугу развитію ума и чувства Григорьева, значеній имѣло то пожирающее чтеніе французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ переводныхъ романовъ, которое съ такимъ неподражаемымъ азар-

томъ производилось въ домѣ его отца. Долгіе зимніе вечера уходили въ чтеніи романовъ. Читали попеременно, то отецъ, то Сергій Ивановичъ, но больше послѣдній. Дѣтская комната, гдѣ производилось это чтеніе, принадлежала сыну Григорьева. Всѣ увлекалось чтеніемъ такъ сильно, что далеко за полночь — бывало — не разъ засиживались подъ впечатлѣніемъ прочтеннаго — въ разговорахъ, бесѣдахъ; послѣдняя, съ которою расходились чтецы, была мысль при первой же возможности завтра съ пяти часовъ вечера начать опять, докончить, узнать въ чемъ дѣло, что и какъ съ героемъ и героиней — повѣнчались или въ гробъ положили. Мальчикъ — Григорьевъ слушалъ это чтеніе съ жадной вѣрою фанатика. Отецъ снисходительно относился къ присутствію мальчика среди большихъ и тогда только «для проформы» гналъ его изъ комнаты, когда доходили до пекотливаго мѣста въ книгѣ. Характеръ содержаніе читаннаго былъ фантастическій. Авторы романовъ были Г-жа Анна Ратклифъ, Г-жа Жанлисъ, Г-жа Каттенъ, Виконтъ д'Арленкуръ, Дюкре, Дю Мениль, Клауресъ, Шписъ, нѣмецкіе писатели періода «бури и натиска». Духомъ среднихъ вѣковъ со всѣми ихъ рыцарями, со всѣмъ культамъ «дамы сердца», мертвецами, могилами и проч. повѣяло отъ этихъ романовъ и питало воображеніе читающей неприхотливой «черни» какъ даннаго двадцатилѣтія вообще, такъ въ частности кружокъ отца нашего критика. Позднѣе только Лажечниковъ, Загоскинъ,

Кукольникъ, Марлинскій, Полевой стали мелькать на устахъ этой черни. И такъ вотъ «старая запоздалая» струя, бѣжавшая въ романахъ европейскихъ авторовъ. «Все это было — болѣе или менѣе шумныя струи, запоздалыя, но вносившія свой илъ и тину въ наше развитіе замѣчаетъ по этому поводу Григорьевъ (Эпоха, 1864, 5, 159). Врывается новая струя въ лицѣ Вальтеръ-Скотта. Это былъ модный романистъ, который «возбуждалъ нѣкогда восторгъ до поклоненія, обожаніе до нетерпимости», который поглощался, пожирался, которымъ зачитывалась вся Европа. Однако шотландскому романисту не посчастливилось въ домѣ отца Григорьева, его вообще не особенно любили и не особенно читали. «Какъ пойдеть онъ эти разговоры свои безъ конца вести», говаривалъ отецъ Григорьева, «такъ просто смерть, право», и бросалъ читать «Шотландскаго Барда». Вотъ тѣ книжныя впечатлѣнія, литературныя вѣянія, окружавшія дѣтство Григорьева. Мы намѣренно углубили эту часть нашихъ строкъ о тѣхъ вліяніяхъ, которыя породили Григорьева, чтобы ясно было видно, какія дѣйствительныя литературныя и нравственныя теченія проходили въ душѣ будущаго критика, продолжателя дѣла своего великаго образца Бѣлинскаго и какой въ общемъ отжившей, къ великому прискорбію, отзвучавшей порѣ принадлежить Григорьевъ, какой школы вообще онъ былъ. Взглянемъ на детальныя стороны жизни Григорьева. Предшествующее ясное поможетъ понять послѣдую-

щее, намѣренно отодвинутое на задній планъ. Наступили годы ученія. Приглашенъ былъ Сергѣй Ивановичъ. До него грамотъ учила Григорьева мать. Грамота и вообще ученіе и съ Сергѣемъ Ивановичемъ до 12 лѣтъ не давалось легко Григорьеву. Съ матерью онъ кое какъ разбиралъ склады и дальше буки-рцы-азъ-ра-бра- не ушелъ. Занятія съ Сергѣемъ Ивановичемъ къ великому и полному восхищенію его ученика, съ Сергѣемъ Ивановичемъ, смотрѣвшимъ сквозь пальцы на нихъ и больше отдававшимъ «романтизму» въ видѣ любовныхъ интрижекъ, шли черезъ пень въ колоду. Но тутъ уже не неспособность ученика мѣшали заниматься, а лѣнь смертельная. Не будемъ останавливаться на характеристикѣ обычнаго учебнаго дня Григорьева со своимъ наставникомъ, жившимъ подлѣ него въ смежной комнатѣ. Это поведетъ насъ далеко. Скажемъ только, что «ни съ проклятой латинской грамматикой Лебедева, къ которой до сихъ поръ не могу я отнестись безъ нѣкотораго, самому мнѣ смѣшнаго, враждебнаго чувства, ни съ еще болѣе проклятой ариѳметикой я никогда не могъ примириться (Время 1862, 12, стр. 27), ни Катихизисъ, ни Священная Исторія, — нѣтъ, не это занимаетъ пылкое воображеніе ребенка, когда онъ сидитъ за книгой и долбитъ отселъ до селъ (Сергѣй Ивановичъ былъ семинаристъ и училъ своего геніальнаго питомца по преданіямъ «Симандры» — родной семинаріи), нѣтъ не сухія безжизненные опредѣленные понятія складываются въ

юной души, а мечты роємъ носятъ передъ ней и увлекаютъ въ свой волшебный край. «Цѣлые романы создаются въ моемъ воображеніи до того живо, хоть и нескладно, что я умиляюсь и плачу надъ создаваемыми мною плѣнными или преслѣдуемыми красавцами и героическими рыцарями. Мечты свои я держу въ глубочайшей тайнѣ отъ всѣхъ, даже отъ Сергѣя Ивановича, держу въ тайнѣ, потому что мнѣ самому совѣстно и стыдно, а совѣстно и стыдно, потому что я самъ являюсь героемъ, и вѣдь сознаю, что въ мои лѣта еще неприлично такъ мечтать. Хитрость, орудіе раба, рано во мнѣ развивается и я показываю всегда видъ, что ничего не приличнаго не понимаю. Да и точно, не понимаю вполне, но что-то странное смутно предугадываю и хоть мнѣ еще семь-восемь лѣтъ, что-то странное смутно чувствую подлѣ женщинъ... На бѣду еще въ этотъ годъ (въ 1829 — 30-го приблизительно) гостила у насъ дочь сосѣдки отца по деревнѣ. Ее отпустили къ намъ изъ пансіона, и она была уже дѣвочка лѣтъ одиннадцати, прехорошенькая брюнетка, вострая и живая; недѣля жизни съ нею, недѣля, въ которую и мнѣ дали полнѣйшій отдыхъ отъ ученія, догадавшись, можетъ быть, что я одурѣлъ отъ него, недѣля эта промелькнула какъ сонъ, но чѣмъ то теплымъ и даже молодымъ отзывается память о ней, объ этой недѣлѣ, объ играхъ въ горѣлки рука съ рукой съ Катенькой, объ играхъ въ гулючки, когда мы съ Катенькой прятались въ одномъ мѣстѣ, и

прижимаясь другъ къ другу, таили дыханія, чтобъ насъ не было слышно; объ осеннихъ сумеркахъ вдвоемъ на одномъ креслѣ съ нею, когда что то колючими и сладкими искрами бѣгало по моему составу. И разумѣется, въ создаваемыхъ дѣтекимъ воображеніемъ романахъ плѣнная красавица Катенька и рыцарь я. Но повторю: никто этого не знаетъ... Если я теперь могу въ этомъ признаться — то вѣдь право, я, какъ и всѣ, вѣроятно обязанъ этимъ Толстому, обязанъ новой эпохѣ. Въ нашей эпохѣ не было искренности передъ собою; немногіе изъ насъ добивались отъ себя усиленнымъ трудомъ искренности, но Боже! какъ болѣзненно она намъ досталась. Даже въ Толстомъ, который одною ногою всетаки стоитъ въ нашей эпохѣ, очевидны слѣды болѣзненного процесса». (Время 1862, 12, 388 — 389). Не взирая на всѣ эти домашнія препятствія, кто изъ знавшихъ Григорьева въ дѣтствѣ могъ ожидать, чтобъ онъ такъ быстро и широко могъ развиваться въ 20 лѣтъ, когда кончилъ курсъ Юридическихъ наукъ первымъ кандидатомъ въ Московскомъ Университетѣ и (по словамъ его сына Александра Аполлоновича Григорьева) *) былъ приглашенъ остаться при университетѣ — готовиться къ каѳедрѣ. Не то дѣлаетъ интересъ въ личности Григорьева, что Григорьевъ родился тогда, когда Пушкинъ входилъ въ силу, въ зрѣлый періодъ своего

*) Недавно умершаго въ Петербургѣ.

АПОЛЛОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ.

генія, что Григорьевъ кончилъ курсъ въ университетѣ въ самый цвѣтушій періодъ развитія генія Бѣлинскаго (Григорьевъ кончилъ курсъ въ 1842, а въ 1843 году Бѣлинскій началъ рядъ своихъ знаменитыхъ статей о Пушкинѣ), что онъ былъ современникомъ Крылова, Жуковского, Батюшкова, Гоголя, Лермонтова, что при немъ встали Островскій, Тургеневъ, Левъ Толстой, Майковъ, Фетъ, Достоевскій, Полонскій и т. д., не это собственно дѣлаетъ центральный для насъ интересъ въ жизни Григорьева, а то, что Григорьевъ пережилъ все это, что большая часть всего этого перешла въ плоть и кровь его и сдѣлалось его второй природой, что онъ реальный, а не номинальный представитель тѣхъ умственныхъ вѣяній въ продолженіе всей его литературной жизни, которыя показывались на горизонтѣ русской словесности. Въ душѣ его просѣивалась вся наша интеллигентная жизнь, изъ нея отсидилась лучшая часть въ его душѣ и, ассимилировавшись, вошла психическимъ цементомъ при кладкѣ его таланта и личности. Къ нашему огорченію мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о студенческихъ годахъ Григорьева. «Литературныя и нравственныя скитальчества» его кончаются на раннихъ домашнихъ годахъ жизни. А между тѣмъ въ московскомъ университетѣ съ кафедръ раздавалась проповѣдь идей Шеллинга. Въ частной жизни студенты группируются и увлекаются кумиромъ вѣка — геніальнымъ Шеллингомъ, пока на смѣну ему не пришелъ другъ его по жизни

и мысли — Гегель и не занялъ сердца русских передовых людей. Имѣя въ виду страстную, пылкую, ищущую интеллигентную натуру Григорьева, не трудно предположить, что и онъ примкнулъ къ какому нибудь кружку и жилъ его жизнью. Тотъ фактъ, что Григорьевъ полюбилъ Шеллинга и на всю послѣдующую жизнь сохранилъ къ нему благодарное сочувствіе, (а Шеллингъ умеръ въ 1854 г. за 10 лѣтъ до смерти Григорьева), даетъ основаніе предположить это. Во всякомъ случаѣ и безъ кружка Григорьевъ могъ проникнуться высокою мыслью философа и предаться глубокому изученію его. Извѣстно, что плодомъ этого изученія были тѣ принципы теоріи органической критики, съ которыми онъ разсматривалъ литературныя явленія со времени Пушкина, съ самаго начала 50-хъ годовъ въ Москвитинѣ. Эта теорія параллельно съ возрастающей дѣятельностью Островскаго возрастала и укрѣплялась въ сознаніи критика. — Къ концу 30-хъ годовъ повѣяло Гегелемъ, хотя Гегель умеръ въ 31 году. Страстный, чуткій, жадный и смѣлый ловецъ новаго, Бѣлинскій почувалъ тягу и отдался могучему вѣянію. Но Григорьевъ, молодой человѣкъ съ ясно выраженными поэтическими наклонностями не поддался этому вѣянію. Но не потому, что не чувствовалъ въ себѣ «трансцендентальной закваски», о которой онъ говоритъ своему «милому Горацио Косицѣ», что ея въ немъ и въ его другѣ есть много (Эпоха 1864, 3, 130 стр.), а потому

что всѣ симпатіи лежали на сторонѣ Шеллинга, хотя и надъ «Феноменологіей Духа» Гегеля Григорьевъ съ удовольствіемъ ломалъ голову. — Въ строкахъ Аверкіева, приведенныхъ въ своемъ мѣстѣ, показано было вліяніе философіи Шеллинга на современное философу русское поколѣніе. Сдѣлаемъ небольшой заворотъ въ сторону и скажемъ о тайнѣ симпатій Григорьева не къ Гегелю, а именно къ Шеллингу. Почему Григорьевъ пристрастился къ философской мысли Шеллинга больше, нежели къ философіи Гегеля, глубже захватывающей явленія міра? Вотъ въ какихъ общихъ чертахъ представляется намъ умственная жизнь Германіи первой четверти нашего вѣка. И Шеллингъ, и Гегель, и Гербартъ и Шопенгауеръ жили въ одно время. Первые два философа одно время были въ самой тѣсной дружбѣ. Іенскій періодъ жизни Гегеля (1801—2—3 гг.) былъ заполненъ дружбой Шеллинга. Гегелю тогда шелъ 33-й годъ жизни, а Шеллингу 28-й. Оба друга переживали одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ періодовъ человѣческой жизни періодъ бодрой молодости Шеллингъ въ эти лѣта уже прославленный философъ, на котораго устремлены съ жадностью взоры современниковъ, видѣвшихъ въ немъ достойнаго соперника и счастливаго продолжателя философскаго дѣла уже давно покойнаго Фихте (1814 г.). Имя Шеллинга вызывало благоговѣніе. Гегель кряхтѣлъ возлѣ своего блестящаго друга, какъ курица на яйцахъ — высидывавъ

свою философію. Шеллингъ уже авторъ многихъ философскихъ трактатовъ (въ это же время слагались основныя черты его «Системы трансцендентальнаго идеализма»), а Гегель авторъ черновыхъ набросковъ своей философіи и робко начинающій никому неизвѣстный приватъ-доцентъ на кафедрѣ философіи въ Университетѣ.

Въ личныхъ ихъ качествахъ было много не сходнаго. Гегель тихій, спокойный, мало возмущающійся, Шеллингъ — страсть, огонь; Гегель — сильный аналитическій умъ, Шеллингъ — искрометный гений; Гегель — воплощеніе труда, кропотливаго собиранія кропотливыхъ фактовъ, Шеллингъ — гениальный дедуктивный умъ, къ тому же надѣленный сильною творчески — діалектическою способностью; Гегель медленно добирался до зерна истины, Шеллингъ — прямо смотрѣлъ въ корень дѣла, ясно видѣлъ суть явленія. И Гегель, и Шеллингъ, и Шопенгауеръ — пытались подвести подъ одно общее начало всѣ явленія міра, объяснить сущее. Гегель царилъ надъ всею Европою все 25-лѣтіе съ 1806 по годъ смерти 1831. Верховный жрецъ истины, какъ онъ самъ о себѣ думалъ и внушалъ своей университетской аудиторіи, онъ былъ законодателемъ въ своемъ родѣ. Въ важныхъ случаяхъ германской государственной жизни Гегель, во имя признанія себя безгрѣшнымъ жрецомъ истины, имѣлъ рѣшающій голосъ. Глядя съ высоты нашего время на явленія умственной жизни Германіи первой четверти нашего вѣка, не-

вольно останавливаешься передъ однимъ изъ нихъ, именно — васъ поражаетъ явленіе, называемое Гегель. Вы видите и поражаетесь величественнымъ зрѣлищемъ: среди нѣмцевъ возвышается одинъ нѣмецъ, весь залитый блескомъ, сіяніемъ. Несмотря на то, что тамъ недалеко стоитъ другой ярко-сіяющій столпъ, тоже нѣмецъ — Гете, уже подарившій міру лучшія созданія своей музыки, въ противоположномъ краю возвышается третій колоссъ — Александръ Гумбольдтъ съ развивающеюся въ головѣ идеею физическаго описанія *всего* міра — всѣхъ сидерическихъ и теллурическихъ явленій, гдѣ то въ толпѣ замѣшался четвертый громадный умъ — скромный частный учитель Гербартъ, среди толпы въ противоположномъ концѣ отъ Гербарта возвышается злобно-скрежещущій, съ глубокой ненавистью взирающій на Гегеля и на восхищающуюся имъ толпу «тупоголовыхъ нѣмцевъ» — Артуръ Шопенгауеръ; не смотря на то, что тамъ гдѣ то на чердакѣ въ нѣмецкомъ городѣ сидитъ глухой великій сподвижникъ искусства — великій Людвигъ Бетговенъ, въ творческой и міровой душѣ котораго (къ концу жизни — 1828 г.) кипѣли всѣ страсти земли, вся накипь тоски и воздыханій, вся печаль нашего вѣка, все страданіе нашего міра, сидитъ и звукъ за звукомъ творитъ великое созданіе искусства, удивляетъ міръ, восхищаетъ и покоряетъ, — что гдѣ то въ бѣдной обстановкѣ впроголодь сидитъ молодой тридцатилѣтній геній, единственный

послѣ Беттовена на весь нашъ XIX в. Францъ Шубертъ, объятый холодомъ вдохновенія, и творить свое музыкальное чудо симфонію C—dur, — что гдѣ-то въ Цвикау уже родился чудный ребенокъ съ чуднымъ творческимъ музыкальнымъ даромъ, которому предопредѣлено въ будущемъ наполнить міръ звуками своей чудной мелодіи; этотъ ребенокъ, при крещеніи названный Робертомъ (Шуманъ), уже выросъ, уже оперился, уже почувствовалъ себя, свою мощь, уже говоритъ звуками міру, что романтизмъ, хорошо понятый, есть Божья благодать, а не зло и кара, уже почувствовалъ въ себѣ преемника Шеллинга и въ своей области — музыкальной — ведетъ настойчивую борьбу за право существованія идей родственнаго генія — Шеллинга, за что Шуманъ, не будучи философомъ ex officio, удостоился диплома доктора философіи отъ Іенскаго университета; — и такъ — не смотря на массу свѣта отъ Гегеля и красоты въ Германіи, не смотря на это обиліе перво-разрядныхъ талантовъ — солнцъ, изливающихъ на міръ потоки чуднаго сіянія, — Гегель стоитъ въ центрѣ этого величественнаго зрѣлища, обильно залитый свѣтомъ, въ дыму фиміама и среди поклоненій, и — новоявленный олимпіецъ — изрекаетъ міру свои метафизическіе глаголы. Міръ поникъ долу и внемлетъ. И часть этого міра — Россія — тоже поникла и преисполнилась благоговѣнія къ «Егору Θεодоровичу», стала страстно изучать его, вчитываться и точить на немъ свою мысль. Что же дѣлалъ

другъ Гегеля? Шеллингъ, какъ ярко пронесшійся метеоръ, показался, плѣнилъ на время, увлекъ современниковъ, бросилъ въ міръ творческія идеи, подхваченныя во время и молчкомъ Гегелемъ, от-вернулся отъ дѣйствительной жизни, преисполнившись къ ней презрѣніемъ за то, что ему предпочли Гегеля, того самаго субъекта, котораго онъ не считалъ надежной головой и о которомъ онъ не постѣснился сказать: «воръ моихъ идей», когда дружба омрачилась и замѣнилась глубокой ненавистью, — ушелъ въ «романтическую даль» и умеръ жалкимъ вдовцомъ въ 1854 г., умеръ безъ того почета, славы и уваженія, которыя онъ по праву заслужилъ. Впрочемъ, мы хорошо знаемъ факты благодарности нѣмцевъ: величайшій геній всѣхъ вѣковъ и народовъ — Моцартъ былъ свезенъ и похороненъ въ дурную, дождливую погоду руками гробовщиковъ: ни одного нѣмца, ни одного друга не было при этомъ погребеніи величайшаго человѣка... Вліяніе Шеллинга на современниковъ было кратковременно, пока не возшла на горизонтъ звѣзда его друга, затмившая сіяніемъ блескъ его величія и вызвавшая въ немъ адъ ненависти къ другу. Шеллингъ былъ романтикъ-поэтъ самой высокопробной кристаллизациі. Жертва своего времени, — подобно другимъ жертвамъ — Фр. Шлегелю, Гельдерлину и др., Шеллингъ закончилъ жизнь индифферентизмомъ и мистицизмомъ, т. е. такими фактами, которые ясно показываютъ, что жизнь проведена бесплодно. Что же дѣлаетъ Шопенгауеръ?

Бросаетъ кафедру, уѣзжаетъ въ Италію, поселяется затѣмъ во Франкфуртъ-на-Майнѣ и отдаетъ всю свою долгую жизнь (безбѣдно обставленную въ противоположность голодной и нищенской жизни Гегеля до конца іенскаго періода жизни) размышленію о жизни и мірѣ. Міръ въ зеркалѣ его философіи представленъ въ мрачномъ свѣтѣ. Зло міра, его страданія и недуги быстро находили отзывъ въ мозгу философа и рефлексомъ отразились въ мрачной философіи пессимизма. Добро, любовь, красота этого міра, свѣтъ, счастье труда, вѣра въ Бога—все это какъ будто мимо прошло, не задѣло нашего философа, не вызвало въ немъ расположенія дать положительную оцѣнку всѣмъ этимъ существеннымъ сторонамъ міра, не расположило къ тому глубокому размышленію, которое приводитъ, если не къ успокоительной «Этикѣ—Баруха Спинозы или къ жизнерадостному оптимизму Лейбница, то къ такому философскому взгляду на міръ, основанному на новыхъ данныхъ науки, искусства и исторической жизни народовъ, который въ равной степени дѣлаетъ справедливою оцѣнку и положительной сторонѣ нашего міра; не существуя эта сторона, воплощающаяся въ верховныхъ идеяхъ, руководящихъ дѣятельностью какъ отдѣльно одаренныхъ лицъ, такъ и всѣмъ народомъ, міръ не просуществовалъ бы и двѣнадцати мгновеній. Очевидно, если космическія тѣла, поражающія величавой громадностью своихъ формъ и безпредѣльностью пространства, движутся гармо-

нично на периферіи центростремительной силы, называемой всемірнымъ тяготѣніемъ, — нѣтъ основанія утверждать, что громадная масса живыхъ людей жпветъ по инерціи, не будучи подвижна никакой верховной идеей къ идеалу, — этому всемірному духовному тяготѣнію всѣхъ живыхъ людей земли. Словомъ, Шопенгауеръ не оцѣнилъ въ должной мѣрѣ *свѣта* нашего міра. Напримѣръ, тотъ колоссальный пучокъ свѣта, который бросилъ въ міръ нашъ Императоръ Александръ Благословенный, прошедшій счастливымъ побѣдителемъ отъ стѣнъ Кремля до Версаля и тутъ, въ Парижѣ, этомъ центрѣ мировыхъ судорогъ, — развернувшій изумленному человечеству не знамя деспота, а любви къ «человѣку», развернувшій знамя «Священнаго союза», — этотъ свѣтъ не поразилъ очей Шопенгауера — молодого 26-ти лѣтняго юноши, мужавшаго мыслью и мечтавшаго въ тайнѣ честолюбивыхъ тенденцій о великой участи. Этотъ свѣтъ пронесся мимо подымавшагося философа. А между прочимъ свѣтъ этотъ заключалъ великую историческую идею. Чуткому уму открылась бы эта идея и отдалась бы въ полное обладаніе. Она сказала бы своему избраннику, что вонъ тамъ — на востокъ Европы — нарождается великая свѣтоносная сила, которой принадлежитъ будущее на аренѣ міра, что обликъ этой силы на видъ невзрачный — «ярославскій мужикъ», — но въ основѣ опирающійся на вторую великую заповѣдь Христа. Повторяемъ, нашъ философъ, въ озлобленіи на лю-

дей, въ частности на нѣмцевъ, частиѣ на профессоровъ философіи и ближе всего на «Егора Θεодоровича», всячески старавшихся подставить ногу Шопенгауеру, учинить пакостную каверзу или каверзную пакость, смотря по расположенію духа, — уединился и сталъ размышлять надъ тѣми же людьми, почтительно исключивъ отсюда любезныхъ его сердцу «тупоголовыхъ» соотечественниковъ, какъ не вмѣняемыхъ (конечно, исключая геніальныхъ представителей нѣмецкаго народа). Намъ извѣстны плоды этихъ размышленій, особливо выпукло отразившихся во время ихъ этапнаго пути въ «Максимахъ и афоризмахъ» нашего философа. — Зная Григорьева, легко заключить, что Шопенгауеръ не могъ быть ему по душѣ. Глубокая натура и безалаберный поэтъ — Григорьевъ тяготѣлъ всѣми фибрами сердца къ такой же глубокой и безалаберно-поэтической натурѣ — къ Шеллингу. Что же было такого въ Шеллингѣ, что мысль его на долго стянула Григорьева, что мысль его плодотворнымъ зерномъ вошла въ душу нашего критика и дала обильную жатву? Многое объясняется самой личностью Шеллинга, во многихъ основныхъ силахъ совпадающей съ силами души Григорьева. Не будемъ проводить параллели, но скажемъ, что живая, даровитая, умная личность философа вносила свое дыханіе, обвѣвала каждую написанную строку. Геніальный, страстный, въ 18—19 лѣтъ счастливо критикующій Фихте, на лету схватывающій идею его и претворяющій ее въ свою

философію, развивающійся богатырски, къ 25 годамъ жизни Шеллингъ уже импонировалъ въ міръ науки и нѣмецкаго общества, какъ феноменъ. Если Гегель кротъ, то Шеллингъ величественный орелъ, подъ могучими взмахами крыльевъ котораго очень уютно чувствовалъ себя флегматичный другъ его «Егоръ Ѳеодоровичъ». — Отсюда понятно, что именно такая личность могла дѣйствовать на развивавшагося Григорьева — молодого, богато-надѣленнаго чувствомъ и страстнымъ инстинктомъ жизни. Чуткій, впечатлительный, кипучій, одаренный Богомъ и глубокимъ умомъ, и воспріимчивымъ сердцемъ, быстро развивавшійся, мужавшій на глазахъ своихъ друзей, — Григорьевъ могъ только Шеллинга полюбить изъ перечисленныхъ въ сжатомъ очеркѣ первоклассныхъ талантовъ. Такъ — основная черта философской манеры Шеллинга поразительно совпадаетъ съ аналогичной чертой писательской манеры Григорьева: ни послѣдній, ни первый — не были одарены счастливой чертой характера — спокойнаго, усидчиваго, тихаго труда; оба походя творили, оба записывали свои идеи, рождавшіяся въ обиліи въ головѣ, тамъ, гдѣ чувствовались роды этихъ идей. Григорьевъ сидитъ въ тюрьмѣ и обдумываетъ всю ночь свои идеи, Шеллингъ импровизируетъ передъ благоговѣющимъ передъ нимъ Гегелемъ и окружающимъ обществомъ; оба пишутъ начало философской статьи (критика та же философія) и обрываютъ ее на серединѣ, не кончаютъ, бросаютъ, и т. д.

Въ 1842 году Григорьевъ окончилъ курсъ. Въ томъ же году поступилъ онъ на службу въ университетъ библіотекаремъ, а потомъ секретаремъ университетскаго совѣта. Въ 1844 году мы видимъ его въ Петербургѣ на службѣ въ первомъ Департаментѣ Сената до 1847 г. Вотъ къ этому времени относится его чуткое отношеніе къ дѣятельности Бѣлинскаго, умершаго въ Петербургѣ. Бѣлинскій тогда уже пережилъ лѣвую сторону Гегельянства и переходилъ на народную почву, предъявляя требованія къ искусству публицистическія. Григорьевъ зачитывался статьями «великаго борца идей», вождя современнаго зрѣлаго поколѣнія и самъ сталъ пробовать свои силы на страницахъ «Репертуара» и «Пантеона» въ теченіе времени отъ 1844 до 1846 г. Здѣсь напечатаны оригинальныя стихотворенія его, переводныя стихотворенія, рассказы (Олимпій Родинъ, Человѣкъ будущаго, рассказы безъ начала и безъ конца, а въ особенности безъ «морали», посвященные А. А. Фету, Мое знакомство съ Виталинымъ. Продолженіе разсказа «Человѣкъ будущаго». Офелія. Одно изъ воспоминаній Виталина. Продолженіе того же разсказа. Лючія—повѣсть, статьи объ Александровскомъ театрѣ, о русской драмѣ и русской сценѣ. Элементы современной русской драмы. Значеніе страстей вообще и любовь, какъ одинъ изъ драматическихъ элементовъ. Послѣдній фазисъ любви. Любовь въ XIX в.). Всѣ статьи, переводныя стихотворенія и рассказы частью подписаны полною фамиліею ав-

тора, частью инициалами, частью фамилією А. Григорьевъ, частью кабалистическими цифрами 1.4. Впрочемъ, кабалистика разрѣшается легко — имя его Аполлонъ начинается первой буквой алфавита, а фамилія — четвертой. Вотъ, что говорить Григорьевъ о начальной порѣ своей литературной дѣятельности въ своемъ послужномъ спискѣ «на память моимъ старымъ и новымъ друзьямъ», написанномъ за три недѣли до смерти: «Въ 1844 году я пріѣхалъ въ Петербургъ весь подъ вѣяніемъ той эпохи и началъ писать напряженнѣйшія стихотворенія, которыя, однако, интересовали Бѣлинскаго, чѣмъ ерундистѣе были. Въ 1845 году они изданы книжкою. Отзывъ Бѣлинскаго. Въ 1846 году я редактировалъ «Пантеонъ», со всѣмъ увлеченіемъ и азартомъ городилъ въ стихахъ и повѣстяхъ ерундищу непроходимую. Но за то свою, не кружка. Въ 1847 году поэтому, за первый свой честный трудъ, за Антигону, я былъ обруганъ Бѣлинскимъ хуже всякаго школьника. Я уѣхалъ въ Москву и тамъ несъ азартъ въ «Городскомъ Листкѣ», но опять-таки свой азартъ и былъ обруганъ. Вышла странная книга Гоголя и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповѣдывавшую, что «съ словомъ надо обращаться честно». Вышла моя статья въ «Листкѣ» и я былъ оплеванъ буквально именемъ подлеца Герценомъ и его кружкомъ. Въ 1848 и 1849 году я предпочелъ заниматься, пока можно было, въ потѣ лица работой переводовъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Въ

1850 году послалъ, не надѣясь, что она будетъ принята, статью о Фетѣ. Приняли. Я сталъ писать туда лѣтопись московскаго театра. Не надолго. Не переварилась. Явился Островскій и около него, какъ центра, кружокъ, въ которомъ нашлись всѣ мои дотолѣ смутныя вѣрованія. Съ 1851 по 1854 г. включительно энергія дѣятельности — и ругань на меня неимоверная до пѣны у рта. Въ эту же эпоху писались извѣстные стихотворенія, во всякомъ случаѣ замѣчательныя искренностью чувства. «Москвитянинъ» падалъ отъ адской скупоści. «Современникъ» началъ заискивать Островскаго и, какъ привѣсокъ, меня, думая, что поладимъ. Факты. Наѣхали въ Москву Дружининъ и Панаевъ. Б—нъ (дотолѣ врагъ, оттолѣ пріятель) свелъ меня съ ними. Съ 1853 по 1856 г., разумѣется урывками, переводился «Сонъ». Лѣтомъ 1856 года я запродалъ его Дружинину за 450 руб. Лѣтомъ же написана одна изъ серьезнѣйшихъ статей моихъ — «Объ искренности искусства», въ «Бесѣдѣ». Молчаніе. Вдругъ совсѣмъ неожиданно я явился въ «Современникъ» съ прозвищемъ «проницательнѣйшаго изъ нашихъ критиковъ». Въ 1857 г. выдался случай ѣхать за границу. Тамъ я ничего не писалъ, а только думалъ. Результатомъ были статьи «Русскаго Слова» въ 1859 г. Возвратъ вообще былъ блистательный. Сейчас же готовились выдать патентъ на званіе оберъ-критика. Некрасовъ купилъ у меня разомъ: 1) *Venezia la bella*, 2) Паризину Байрона и 3) «Сонъ»

въ его будущее изданіе Шекспира. Въ мое отсутствіе вышли только: 1) Мои стихотворенія лучшей москвитяниновской эпохи жизни у Старчевскаго въ «Сынѣ». 2) Статьи о критикѣ въ «Библіотекѣ» (mention honorable съ готовымъ патентомъ на оберъ-критика) и «Сонѣ». При статьяхъ «Русскаго Слова» вотъ какъ: цензоръ Гончаровъ самъ занесъ мнѣ первую съ адмираціями. При послѣдующихъ — градъ насмѣшекъ Добролюбова, взрывъ хохота въ «Искрѣ» и пр. Не мало меня удивили потомъ братья Достоевскіе, Страховъ, Аверкіевъ мнѣніемъ о нихъ, — особенно Ильинъ, катающій изъ нихъ наизусть цѣлыя тирады. А мысли-то мои прежнія, москвитяниновскія — вообще всѣ какъ-то получили право гражданства». Такова часть предсмертныхъ признаній нашего критика. Остановился пока на этомъ мѣстѣ послужного списка. Оставимъ Григорьева за границей. Бросимъ свѣтъ на результаты его дѣятельности до конца 1858 г. Такъ какъ честь, слава и поклоненіе Григорьеву въ критикѣ, то опустимъ остальные стороны его литературной дѣятельности — переводческую и стихотворную и какъ автора повѣстей. Эти стороны многое въ жизни Григорьева раскроютъ будущему его біографу, если послѣдній задастся цѣлью — нарисовать полную картину жизни Григорьева со всѣми ея красками, цвѣтами, съ полнымъ всестороннимъ освѣщеніемъ. Для нашей частной цѣли — довольно его критической дѣятельности. Критическую дѣятельность свою Григорьевъ открылъ

рядомъ статей о «Русской литературѣ» 1851 г. въ первыхъ четырехъ книжкахъ «Москвитянина» за 1852 г., — статей о «Русской литературѣ» 1852 г. въ первой книжкѣ «Москвитянина» за 1853 г. Въ третьей книжкѣ того же года онъ напечаталъ статью о комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ. Къ той порѣ открылась дѣятельность Островскаго, дебютировавшаго первой пробой — комедіей «Свои люди сочтемся». Въ Островскомъ сверкнулъ тотъ блескъ, котораго такъ долго ждалъ Григорьевъ; этотъ блескъ — народность — освѣтилъ мысль критика и подвинулъ на дѣло. Григорьевъ сдѣлался присяжнымъ истолкователемъ драматической дѣятельности Островскаго. Въ это же время въ журналистикѣ циркулировала преимущественно западническая критика. Первой комедіей Островскій оказался обѣимъ партіямъ любезенъ. Но потомъ западники измѣнили свои отношенія, когда увидѣли — якобы односторонность Островскаго. Она заключалась въ томъ, что драматургъ сочувственно выставляетъ непосредственный бытъ народа въ лицѣ его представителей и несочувственно, съ тенденціальнымъ освѣщеніемъ людей, которыхъ коснулась культура. Критика молодой редакціи «Москвитянина» восторгалась каждымъ новымъ произведеніемъ комика. Западники находили фальшь, односторонность въ драмѣ Островскаго и не щадили его. Лучшимъ выразителемъ взглядовъ этой партіи считается Добролюбовъ, посвятившій извѣстную статью Остров-

АПОЛОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ.

скому и съ узкой точки зрѣнія освѣтившій одинъ изъ перловъ драмы драматурга — «Грозу». Вступился Григорьевъ и началъ одно изъ важныхъ плодovitыхъ дѣлъ своей дѣятельности — защиту и разъясненіе драмъ Островскаго. Загорѣлся споръ. Григорьевъ перенесъ споръ на принципиальную почву. Западная критика стояла на исторической точкѣ зрѣнія и съ нею разсматривала литературныя явленія. Все, что не умѣщалось на прокрустовомъ ложѣ этой критики, считалось отставшимъ, фальшивымъ и неискреннимъ. Последнее слово ея было не вѣчные идеалы искусства, а злоба дня, служеніе данной исторической минутѣ. Не народность въ драмахъ Островскаго и отвѣтившаяся въ нихъ правда души человѣческой были мѣриломъ отношеній теоретиковъ-критиковъ къ созданію искусства; съ иными цѣлями теоретики приступали къ произведенію слова, съ цѣлями, которыя мало имѣли общаго съ отношеніями Григорьева къ искусству. Григорьевъ понялъ, что дѣло приходится начинать съ яйца Леды — со взгляда исторической критики на явленія искусства. Такъ онъ и сдѣлалъ. Онъ въ своей критикѣ вышелъ изъ понятія о сущности искусства. Разборъ этого понятія, новыя оригинальныя требованія, предъявленныя имъ къ искусству, и свое оригинальное освѣщеніе дѣятельности Островскаго, въ отпоръ противной партіи, находятся въ трехъ статьяхъ его: «Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства». (Библ.

для Чт. 1858 г. Январь). «Послѣ Грозы» Островскаго» (Рус. Мірѣ 1860 г., 5, 6, 9, 11)». О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ». (Москвитянинъ 1853, Мартъ). Прежде чѣмъ излагать Григорьевскій взглядъ на историческую, а потомъ на его органическую критику искусства, намъ прилично было бы показать истокъ этого взгляда. Исходную громадную руду представляютъ собою во взглядѣ Григорьева сочиненія Шеллинга. Философія Шеллинга оживила мысль Григорьева; она то и была источникомъ его мысли, ея философскою школою. Съ Шеллингомъ онъ носился всю жизнь. Каковъ же строй философской мысли философа, что такъ нераздѣльно приковалъ къ себѣ пламенную душу нашего критика. Въ чемъ ея существенная основа, плѣнившая крѣпчайшее критическое дарованіе нашего писателя? Вотъ, что говорить Аверкіевъ (некрологистъ Григорьева) объ этомъ: «Чтобы вполне и достоительно оцѣнить критическую дѣятельность покойнаго, нужно также показать, какъ зародились въ немъ его воззрѣнія, какой источникъ оживилъ его мысль. Бываютъ времена, когда жизнь громко заявляетъ свои требованія, когда прежнія спокойныя, отшлифованныя, отполированныя воззрѣнія не удовлетворяютъ людей; когда чувствуется потребность новаго, живого слова, когда условныя понятія тяготятъ; когда хочется жить не однимъ разсудкомъ, а всѣмъ существомъ, т. е. жить взаправду, когда хо-

чется постигнуть тайну жизни не сухимъ логическимъ путемъ, а всѣмъ душевнымъ и сердечнымъ строемъ, когда мысль и слово становятся живыми, поэтическими, одухотворенными. Такова была великая эпоха, выразителемъ идей которой былъ великій учитель людей Шеллингъ. Это было вѣяніе, охватившее все живое и свѣжее. Органическій взглядъ на природу и человѣческую жизнь, во всѣхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ — такова была основа этого ученія. Что такое организмъ? Это нѣчто цѣльное, недѣлимое, законченное въ самомъ себѣ; монада, развивающаяся по своимъ, собственнымъ, присущимъ ей законамъ. Не внѣшнія причины строятъ организмъ, а онъ самъ развивается изнутри; не внѣшнія обстоятельства механически видоизмѣняютъ его, а онъ самъ приспосабливается къ нимъ; онъ вступаетъ съ ними въ борьбу, онъ силится раскрыть свои законы. Все это теперь, такъ сказать, наглядно выяснено естественными науками, но не изъ почастнаго изученія явленій природы выведенъ этотъ законъ; изученіе въ этомъ случаѣ шло вышшимъ и болѣе живымъ путемъ; отъ мысли къ предмету, а не наоборотъ. Философія Шеллинга породила такъ называемую натурфилософію ученіе, которое Александръ фонъ Гумбольдтъ называлъ умственными сатурналіями, не постигая, какой великій толчокъ дало оно естественнымъ наукамъ. Но вліяніе Шеллинга не было въ одну сторону; оно было слишкомъ жизненно и многообъемлюще, чтобы огра-

ничиться сферой какихъ нибудь однихъ наукъ. Здѣсь не мѣсто говорить объ этомъ подробно, но надо указать, какъ русская мысль аткликнулась на это ученіе, какъ охватило ее это вліяніе. Ученіе Шеллинга не давало сухихъ логическихъ формъ; его нельзя было механически прилагать, оно требовало живого проникнованія, конгеніальнаго пониманія. Подъ плодотворнымъ вліяніемъ этой то философіи началось изученіе русской жизни. Уже нельзя было легкомысленно относиться къ русской исторіи, зачеркивать весь до-Петровскій періодъ ея, и находить его глупымъ потому только, что онъ не подходилъ подъ законы чуждыхъ намъ европейскихъ западныхъ организмовъ, другими словами потому только, что мы сами не умѣли смотрѣть на него. Надо было начать изучать это своеобразное развитіе, отыскать его своеобразные законы и признать законность его бытія; опредѣлить вліяніе постороннихъ причинъ, разяснить безсиліе ихъ относительно коренныхъ основъ народной жизни. Русская мысль проснулась и внятно заявила свою самостоятельность; тотчасъ же получился и соотвѣтственный результатъ, весьма не маленькій; именно, что мы совсѣмъ забыли про одну, не совсѣмъ то маловажную силу русской земли про русскій народъ. Это заявленіе было встрѣчено противной партіи ярыми, и нельзя сказать, чтобы совсѣмъ честными, нападками. Славянофилы имѣли то нравственное преимущество въ этомъ спорѣ; что хорошо знали, чего они сами

хотять и чего хотять ихъ противники; но западники совершенно не понимали своихъ противниковъ и ограничивались грубыми насмѣшками надъ зипунами, мурмолками и т. д. Печальная исторія, продолжающаяся даже до сего дня. О народѣ, о томъ народѣ, на котораго Бѣлинскій почти сердился за его упрямую оригинальность, заговорили съ почтеніемъ, начали изучать съ любовью его исторію и быть, его пѣсни и былины. Тамъ, гдѣ прежде видѣли одну закоснѣлую грубость, тамъ оказались высокіе нравственные идеалы; тамъ, гдѣ видѣли одну неуклюжую неумѣлость и почти неспособность къ гражданскому обществу, съ удивленіемъ увидѣли зародыши такихъ общественныхъ формъ, которыя оказались высокими даже для утопистовъ и избраннѣйшихъ друзей человѣчества западной цивилизаціи; и главное, что особенно было видно для господъ, принявшихъ Петровскій переворотъ за высокую фазу внутренняго развитія, заподозрѣна была вообще самостоятельность западной цивилизаціи и ея идеаловъ по приложимости къ русской жизни и по отношенію къ зачаткамъ самостоятельнаго русскаго просвѣщенія. Это умственное движеніе не могло не имѣть вліяніе на впечатлительную и страстную натуру Аполлона Александровича. Собственно говоря, западникомъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ никогда не былъ. Если одно время при первомъ пріѣздѣ въ Петербургъ въ 1844 году онъ и казался западникомъ, то это надо приписать

съ одной стороны молодости его, а съ другой сильному вліянію нѣкоторой энергичной и таинственной личности, о которой онъ, къ сожалѣнію, разсказывалъ весьма мало, думая вполне характеризовать ее въ своихъ «Скитальческихъ». Въ этомъ великомъ дѣлѣ пробужденія русской мысли и самостоятельнаго изученія проявленій русской жизни Аполлону Григорьеву выпало на долю быть разъяснителемъ развитія русскаго искусства и преимущественно литературы. (Эпоха, 1864, 9, стр. 3—5). Вотъ, что воспитало Григорьева, что вдохнуло въ него вѣру въ искусство и въ жизнь, въ идеалы добра и красоты, что выработало изъ него энергичнаго проповѣдника своей вѣры. Онъ былъ одинокъ и потому уныніе, тоска часто посѣщали его. Просвѣщенное содружество братьевъ Достоевскихъ, Страхова, Аверкіева, самого Островскаго, Майкова, Фета, Полонскаго, поддерживало періодами въ немъ вѣру въ свое слово, въ свое ученіе. Первая статья Григорьева написана подъ вліяніемъ Шеллинга. Такъ какъ сущность искусства есть художественно-правдивое воспроизведеніе жизни, слѣдовательно психологическимъ объектомъ его служить жизнь, то и возникаетъ вопросъ, — отражая жизнь художественно-правдиво, когда искусство можетъ сказать, что оно уловило идеалъ? Впрочемъ бросимъ перифразъ и предоставимъ самому Григорьеву защищать себя. «По ученію Шеллинга выходило, что и народамъ и лицамъ возвращается ихъ цѣльное самоотвѣтственное зна-

ченіе, чтобы разбить кумиръ, которому приносились
требы идольскія, кумиръ отвлеченнаго духа человѣ-
чества и его развитія. Развиваются, если можно
уже теперь употребить это слово, народные орга-
низмы, нося въ себѣ слѣды болѣе или менѣе отда-
ленной принадлежности къ первоначальному един-
ству рода человѣческаго, единству не отвлеченному,
моменту необходимо существовавшему. Каждый та-
ковой организмъ, такъ или иначе сложившійся, такъ
или иначе видоизмѣнившій первоначальное преда-
ніе въ своихъ преданіяхъ и вѣрованіяхъ, вносить
свой органическій принципъ въ міровую жизнь.
Естественно, что нѣсколько такихъ однородныхъ
организмовъ, имѣя сходство въ однородности прин-
циповъ, образуютъ циклы древняго, средняго, но-
ваго міра. Каждый таковой организмъ самъ въ себѣ
замкнутъ, самъ по себѣ необходимъ, самъ по себѣ
имѣетъ полномочіе жить по законамъ, ему свойст-
веннымъ, а не обязанъ служить переходною формою
для другаго; единство же между этими организмами,
единство неизмѣнное, никакому развитію неподле-
жащее, отъ начала одинаковое есть правда души
человѣческой. Чистѣйшая форма ея, хранившаяся
подъ спудомъ еврейства, смутно доступная интуи-
тивной силѣ души, опережавшей иногда многослож-
ную операцію полиеизма, и, наконецъ, во плоти
пришедшая въ міръ, идеаль, однимъ словомъ, — пре-
бывалъ и пребываетъ отъ вѣка. Онъ есть вѣчная
правда, неизмѣнный критеріумъ различенія добра

и зла, права и неправда. Не онъ стало быть, не вѣчная правда судится и измѣряется вѣками, эпохами и народами, а вѣка, эпохи и народы судятся и измѣряются по мѣрѣ храненія вѣчной правды души человѣческой и по мѣрѣ приближенія къ ней! (Сочин. Григ. т. I, стр. 210). Гегельянскому принципу, ведущему въ концѣ концовъ къ узкому поклоненію всякому послѣднему моменту развитія, съ постояннымъ и постоянно повторяющимся отрицаніемъ всѣхъ предшествовавшихъ моментовъ, противопоставляется Шеллинговскій «принципъ развитія идей въ извѣстныхъ такъ сказать типическихъ циклахъ, въ извѣстныхъ мірахъ, связанныхъ между собою преемственнымъ единствомъ, но имѣющихъ и свое самостоятельное значеніе, свое типовое бытіе». (Сочин. Григ. 337).— Въ чемъ же былъ порокъ западнической—исторической критики, захватившей въ свои руки все движеніе журнальной литературы 50 и 60-хъ годовъ? — Историческая критика искусства родилась подъ вліяніемъ историческаго чувства и подчинилась вліянію историческаго воззрѣнія. Приѣмъ ея совершенно правильный, какъ нѣчто непосредственно ей данное, выводы совершенно ложны, какъ подчиненные неправильной формулѣ. Первая и главная ложь ея состояла въ мысли, что въ каждой ложѣ есть часть истины или иначе, что каждая ложь есть форма истины, или, наконецъ, еще проще, что каждая ложь есть относительная истина. Прямое послѣдствіе такого положенія есть, конечно, то,

что нѣтъ истины абсолютной при идеѣ о безконечномъ развитіи, т. е. проще говоря, что нѣтъ истины. Нѣтъ, стало быть, и красоты безусловной и добра безусловнаго. Такъ какъ на этомъ душа человѣческая никоимъ образомъ успокоиться не можетъ такъ какъ ей нуженъ идеаль, нужна крѣпкая основа, то послѣднее звено развитія, послѣдняя относительная истина признается за критеріумъ. Является теорія, построенная на произвольномъ критеріумѣ, и на основаніи ея произносятся окончательные приговоры, смѣняющіеся другими окончательными, ожидающими на смѣну третьихъ, четвертыхъ окончательныхъ и т. д. usque ad infinitum». (Сочин. Грит. 211). Каковы требованія отъ истиннаго поэта у нашего критика, ибо и взглядъ на поэта разнится сильно въ обоихъ лагеряхъ. Искусство есть художественное правдивое отображеніе жизни. Вѣрность этого отображенія зависитъ оттого, какъ относится поэтъ къ жизни. «Поэтъ тогда только учитель народа, когда онъ судить и рядить жизнь во имя идеаловъ, жизни самой присущихъ, а не имъ, поэтомъ, сочиненныхъ». (Стр. 454, сочин. Григ.). Какъ понималъ Григорьевъ роль исторической критики? «Историческое чувство разбило раціонализмъ XVIII в. Оно возвратило только всему прекрасному его законное мѣсто, во имя того, что во всѣ времена и у всѣхъ народовъ (кромѣ Китая и племенъ безъ памяти, безъ преданій и безъ законовъ) душа человѣческая высказывала одни и тѣ же требованія,

одни и тѣ же стремленія. Оно засвидѣтельствовало, что искусство всегда являлось съ своими отзвуками на эти требованія и стремленія, отзвуками или лучшими въ простотѣ своей, безличномъ, растительномъ творествѣ народныхъ пѣсенъ, полныхъ силы, красоты и свѣжаго благоуханія, или глубоко обдуманнѣвшими и, хотя менѣе яркими, но столь же вдохновенными, въ поэзіи художественной. Оно вывело, однимъ словомъ, то положеніе, что вездѣ, гдѣ была жизнь, была и поэзія, вездѣ, гдѣ была поэзія, была она настоящая, высказывавшая стремленія души человѣческой, къ высшему совершенному, прекрасному, всегда какъ нравственно, такъ и эстетически одинаково понимаемому, что идеаль однимъ словомъ не развивается. Идеаль можетъ быть затерянъ, хранимъ подъ спудомъ въ ожиданіи его яркаго разсвѣта, и тогда «сидящіе во тьмѣ и сѣни смертной» ищутъ его ощупью и возвращаются къ сознанію его многотруднымъ путемъ отрицаній всего того, что не есть онъ (путь такъ сказать миеологическій), но самъ идеаль остается всегда одинъ и тотъ же, всегда составляетъ единицу, норму души человѣческой (223—224). «Искусство относится къ жизни съ идеаломъ, свѣтомъ, озаряющимъ случайности, и каждой или цѣлому ряду ихъ опредѣляющимъ законное мѣсто. и такимъ образомъ подходитъ къ явленіямъ съ вышею, т. е. нравственною мѣрою, сложенною изъ созерцанія коренныхъ глубочайшихъ и разумныхъ основъ жизни. Великіе художники боролись не съ

этою мѣрою, не съ вышею нравственностью, не съ идеаломъ, а съ мѣрою случайною, съ идеаломъ, извлеченнымъ изъ минутныхъ жалкихъ или порочныхъ законовъ дѣйствительности (142). Какъ искусство, такъ и критика искусства подчиняются одному критериуму. Одно есть выраженіе идеальнаго, другая разъясненіе отраженія. Законы, которыми отраженіе разъясняется, извлекаются не изъ отраженія, всегда какъ явленіе, болѣе или менѣе ограниченнаго, а изъ сущности самого идеальнаго. Между искусствомъ и критикою есть органическое родство въ сознаніи идеальнаго и критики, поэтому не можетъ и не должна быть слѣпо-историческою, а должна быть или по крайней мѣрѣ стремиться быть, столь же органическою, какъ само искусство, осмысливая анализомъ тѣ же органическія начала жизни, которыми синтетически сообщаетъ плоть и кровь искусство». (229). Вотъ тѣ мысли, съ которыми Григорьевъ борется со своими противниками, приверженцами исторической критики, исходившей отъ Гегеля. Основную ошибку исторической критики Григорьевъ полагаетъ въ томъ, что она, судя о созданіяхъ искусства, постоянно подходила къ нимъ съ предвзятымъ намѣреніемъ выискать цѣль ихъ бытія потопу, поелику эта цѣль отвѣчаетъ данной исторической минутѣ. Происходило это потому, что въ самой теоріи исторической критики былъ порокъ. «Существенный порокъ исключительнаго историческаго воззрѣнія и такъ называемой исторической

критики, которой такимъ высокодаровитымъ и энергическимъ представителемъ былъ у насъ Бѣлинскій, заключается въ томъ, что она не имѣетъ критеріума, вѣчнаго идеала, а съ другой стороны, по невозможности, обусловленной человѣческой природою, жить безъ критеріума, безъ идеала создаетъ критеріумъ произвольно, и этотъ условный чисто теоретическій критеріумъ прилагаетъ въ жизни безпощадно. Когда идеаль лежитъ въ душѣ человѣческой, признается за нѣчто вѣчное, неизмѣнное, всегда и во всѣ времена ей одинаково присущее, онъ не требуетъ никакой ломки фактовъ живой жизни; онъ ко всѣмъ равно приложимъ и все равно судить. Но когда идеаль поставленъ произвольно, теоретически, тогда онъ непремѣнно долженъ гнуть факты подъ свой уровень. Сегодняшнему кумиру приносится въ жертву все вчерашнее, тѣмъ болѣе третьяго дняшнее и все предшествовавшее вообще представляется только ступенями къ нему. И, такъ какъ кто-то, не помню, весьма справедливо замѣтилъ, что для говорящаго «все вздоръ въ сравненіи съ вѣчностью» самая вѣчность есть вздоръ, то очевидно; что на днѣ чисто историческаго воззрѣнія лежитъ индиферентизмъ и фатализмъ, въ силу которыхъ ничто въ жизни—ни народъ, ни лица—не имѣютъ своего замкнутаго, самоотвѣтственнаго бытія и являются только орудіями отвлеченной идеи, переходящими, призрачными явленіями. Единственный идеаль, мыслимый для подобнаго воззрѣнія въ крайнихъ

его результатахъ, есть однообразный уровень, централизація, католическая ли, социалистская ли, это въ сущности все равно, но централизація. Говоря о томъ, что Бѣлинскій былъ энергическимъ представителемъ этого воззрѣнія, я говорю о его доктринѣ, которою онъ постепенно увлекался все болѣе и болѣе, до крайнихъ ея предѣловъ, а не о его личности, какъ художественнаго критика. Высокое художественное чутье, которое вмѣстѣ есть, можетъ быть, и высшая степень чувства гуманности, выручало его почти всегда и, составляя главную его силу, дѣлало его постоянно вождемъ жизни, а не служителемъ теоріи. Вождемъ жизни онъ и былъ съ самаго начала своего поприща» (576). Отсюда понятенъ переходъ къ критикѣ самого Григорьева. Представителемъ какой же критики былъ Григорьевъ, критики, долженствующей вступить на смѣну — исторической или теоретикоисторической? Органической, вотъ названіе новой теоріи критики искусства, предложенное имъ. Основной принципъ ея — учиться созерцать жизнь и изъ этого изученія выносить изъ нѣдръ ея идеалы, ей присущіе. Жизнь — напѣвъ критикъ — не представляетъ себѣ какъ нѣчто безцѣльное, разрозненное, случайное. Шеллингизмъ почилъ на немъ, а потому органическія явленія жизни — вотъ первый и послѣдній предметъ пытливаго духа поэта. Принципъ органической критики слѣдующій: онъ есть «не что иное какъ простой, не теоретическій взглядъ на жизнь и ея выраженія или прояв-

ленія въ наукѣ, въ искусствѣ и исторіи народа (627 стр. Соч. Григ.). «Существеннѣйшая разница органическаго взгляда отъ односторонне историческаго заключается въ томъ, что органическій взглядъ признаетъ за свою исходную точку творческія, непосредственныя, природныя, жизненныя силы; иными словами не одинъ умъ съ его логическими требованіями и порождаемыми необходимо этими требованіями теоріями, а умъ и логическія его требованія, плюсь жизнь и ея органъ проявленія» (624 стр.). Вотъ мысли Григорьева, съ которыми онъ защищаетъ теорію органической критики. Такъ какъ его критическое сознаніе развивалось параллельно съ дѣятельностью Островскаго и такъ какъ вся сила этой критики уходила на защиту этого драматурга (хотя нельзя сказать, чтобъ Григорьевъ замыкался однимъ этимъ писателемъ; напротивъ въ ходѣ своей мысли объ органичности явленій искусства онъ кидалъ взглядъ на всю русскую литературу; по этому-то чрезъ всѣ его статьи проходить одна общая картина нашей литературы, покрытая различными психическими красками; по этому-то ему принадлежитъ одинъ общій взглядъ на развитіе нашей литературы, помогающій разгадать внутреннюю силу развитія, смыслъ ея движенія); то естественно показать: выставивши свою теорію, какъ Григорьевъ посмотрѣлъ на Островскаго и какимъ именемъ онъ называлъ то откровеніе, которое сверкнуло въ драматической дѣятельности писателя. На-

родность была тѣмъ блескомъ, который сверкнулъ въ дѣятельности Островскаго и который привлекъ пытлиное вниманіе Григорьева. Поэтъ тогда народенъ, тогда его вѣщее слово носить общій типическій отпечатокъ націи, когда чрезъ душу его проходитъ геній націи и говорить его устами. Слѣдовательно, единственное мѣрило цѣнности и многозначительности созданія поэта, есть народность въ широкомъ стылѣ. Но поэтъ двояко можетъ отнестись къ народной жизни, изъ которой онъ черпаетъ вдохновеніе: то онъ можетъ отнестись къ ней посредственно сквозь призму своихъ личныхъ идеаловъ (субъективное творчество), созерцать идеалы ея, лежащіе во внѣ; то непосредственно подходитъ прямо къ ней, созерцая идеалы, ей присущіе (объективное творчество), не навязывая ей своихъ и не судя ее судомъ личныхъ воззрѣній, словомъ ничего не доказывая, а показывая жизнь въ ея идеальномъ типомъ. Легко заключить, что истинная сущность жизни ускользаетъ отъ посредственнаго поэта, ставящаго ей требованія и судящаго во имя ихъ, вслѣдствіе чего является отрицаніе дѣйствительности, разладъ, недовольство ею, и что напротивъ сущность жизни открыта для непосредственнаго глаза поэта, созерцающаго объективно величаво движущуюся пучину явленій; результатомъ этого отношенія является примиреніе съ дѣйствительностью, ясное представленіе смысла ея. Только истинному поэту, провидцу дано въ удѣлъ выговаривать

новое слово, открывать новые горизонты тайныхъ движеній народнаго національнаго сердца, намѣчать завѣты, отмѣчать въ яркомъ образѣ самодовлѣющую сущность правды души человѣческой вообще и въ частности типовыя, индивидуально абстрактныя особенности ея въ своемъ народѣ. — Прямые, непосредственныя отношенія къ русской поэзіи и дѣйствительности ведутъ начало отъ повѣстей Бѣлкина Пушкина. Въ Островскомъ по глубокому убѣжденію Григорьева эти отношенія достигли вершины состоянія, благодаря тому, что «у Островскаго одного въ настоящую эпоху литературную (въ 1853 г.) есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохи, такъ можетъ быть данными натуры самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ въ справедливомъ смыслѣ идеализма безъ фальшивой грандіозности или же столько же фальшивой сентиментальности (Соч. 62—63). Но мысль Григорьева не будетъ цѣльна и ясна, если не видѣть, что онъ разумѣетъ подъ непосредственностью отношеній поэта къ жизни и кого онъ называетъ истиннымъ художникомъ: «Тотъ только истинный художникъ въ наше время (53 г.), кто, установивши возможное равновѣсіе идеала, и дѣйствительности

въ душѣ, относится къ дѣйствительности во имя вѣчныхъ и разумныхъ требованій идеала, ищетъ комическимъ путемъ разрѣшенія благородныхъ невышенныхъ задачъ, хотя съ другой стороны, вглядываясь пристально въ дѣйствительность воздастъ должную справедливость ея разумнымъ законамъ, умѣетъ отличать въ ней самобытное, коренное отъ прищлаго и наноснаго. Съ коренными началами этой дѣйствительности идеаль поэта не только не можетъ быть различенъ, но долженъ идти рука объ руку» (58 стр.). Такимъ истиннымъ художникомъ и признаетъ Григорьевъ Островскаго. Теперь въ нашу неподвижную эпоху, когда значеніе Островскаго выяснено вполне (Незеленовъ объ Островскомъ), когда и дѣятельность его уже прервана смертью, слѣдовательно закончена на послѣднемъ фазисѣ развитія, — мысли Григорьева о немъ оправдываются вполне. Геніальное чутье не обмануло критика.

Но пора несравненнѣйшему Аполлону Александровичу домой въ Россію изъ прекрасныхъ мѣстъ запада, залитыхъ чудесами искусства и науки. До конца 1858 года онъ жилъ за границей въ семействѣ кн. Трубецкихъ въ качествѣ учителя. Въ своемъ послужномъ спискѣ онъ говоритъ, что за двухлѣтнее почти пребываніе за границей, онъ ничего «не писалъ, а думалъ», и результатомъ этой думы были статьи въ «Русскомъ Словѣ» за 1859 г. (мы уже указали заглавія двухъ статей его). О чемъ же думалъ онъ, живя въ Италіи, въ цвѣтущей Фло-

ренции? Отъ этой поры мы имѣемъ девять писемъ нашего критика къ одной дѣвушкѣ въ Россію, къ которой онъ питалъ самую высокую и теплую дружбу (Эпоха 65, № 2). Эти письма прекраснѣйшая страница въ литературѣ писемъ вообще. Содержаніе ихъ — внутренній міръ Григорьева. «Въ нихъ вы видите не спокойную передачу смѣняющихся случайностей и картинъ, привлечшихъ вниманіе путешественника, а внутренній, душевный, личный міръ Григорьева, вѣчно волнуемый вопросами неустанно движущійся впередъ. «Искренность этихъ писемъ составляетъ идеаль всякой искренности», — говоритъ Страховъ (Эпоха, 1865 годъ. «Новыя письма Григорьева»). Чтобы судить о характерѣ и содержаніи переписки Григорьева, приведемъ два-три письма его. На письма его надо смотрѣть какъ на такое же литературное произведеніе, какъ любая статья перваго тома его сочиненій. Въ нихъ задушевная мысль, горячее убѣжденіе, словомъ сколокъ съ мощной души Григорьева выражень наиболѣе привлекательно. Нѣкоторыя изъ нихъ очень важны съ психологической стороны: Григорьевъ полнѣе и цѣльнѣе выступаетъ. Возьмемъ, напр. письмо III-ье: Флоренція 1857 г. Октября 20. «Напишу же вамъ хоть разъ въ человѣческомъ расположеніи духа. Я сейчасъ только возвратился изъ оперы и вотъ два дня какъ я въ лирическомъ состояніи отъ двухъ здѣшнихъ оперъ, т. е. оперы театра Пергола и оперы театра Палья-

но, — отъ Мадоны Мурильо, отъ Флоренціи вообще съ ея старыми палаццами, видѣвшими столько трагедій, и ея тюрьмой Барджелло, выдавшей столько казней, съ ея чудесами искусства, съ ея безпечною, разъѣдающею все мирное спокойствіе жизнью. Знаю, что за лирическое состояніе опять поплачусь извѣстнымъ образомъ, но что нужды? День мой и кончено. Съ чего же начать? Начну съ Мадонны. Не думайте, чтобы я по сему поводу пошелъ на *rout aux ânes* т. е. не ожидайте, чтобы я возвратился въ любезное отечество знатокомъ и цѣнителемъ живописи, но органъ для пониманія этого дѣла, который былъ во мнѣ рѣшительно закрытъ — вдругъ во мнѣ означился — да и какъ еще? До страсти, до бѣшенства. По цѣлымъ часамъ не выхожу я изъ галлерей, но на чтобы не посмотрѣлъ я, все раза три возвращусь я къ Мадоннѣ. Повѣрите ли Вы, что, когда я въ первые раза смотрѣлъ на нее, мнѣ хотѣлось плакать. Да, это странно, не правда ли? Этакого высочайшаго идеала женственности, по моимъ о женственности представленіямъ я и во снѣ даже до сихъ поръ не видывалъ... И есть тайна полутехническая, полудушевная въ ея сознаніи. Мракъ, окружающій этотъ прозрачный, безконечно нѣжный, дѣвственно строгій и задумчивый ликъ, играетъ въ картинѣ столь же важную роль, какъ Мадонна и младенецъ, стоящій у нея на колѣняхъ. И это не *tour de force* искусства. Для меня нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что мракъ этотъ есть мракъ

души самого живописца, изъ котораго вылетѣлъ, отдѣлился, улетучился божественный сонъ, образъ весь созданный не изъ лучей дневного свѣта, а изъ розовопалеваго сіянія зари. Смотрѣлъ и смотрю я на нее и вблизи и вдали и не надивляюсь только одному: простотѣ созданія. Ничего подобнаго тѣмъ искусственнымъ переливамъ свѣта утонченности въ накладкѣ красокъ, все создавалось смѣло, просто, широко. Но тутъ есть аналогія съ бетховенскимъ творчествомъ, которое тоже выходитъ изъ безднъ и мрака и также своею простотою уничтожаетъ все кричащее, все жидовское (хоть жидовское, т. е. Мейербера и Мендельсона — какъ вы знаете — я страстно люблю). Искренность и простота этихъ строкъ исключаетъ возможность дѣлать къ нимъ какія либо дополненія: такъ ясна въ нихъ глубокая, серьезно-вдумчивая душа ихъ автора, душа, пораженная восторгомъ и исторгающая великолѣпный потокъ словъ. Другимъ болѣе задушевнымъ, сердечно-тоскливымъ колоритомъ отличено шестое письмо изъ за границы. Въ немъ вы видите страдающаго Григорьева. Зная его скитальческую жизнь, исполненную многихъ тревоженій, горя и заботъ, вы проникаетесь глубокимъ сочувствіемъ къ нему. «Письмо VI 1858 г. Января 6. Сіенна. Хандра грызла меня до того, что стало, наконецъ, просто не въ терпежъ. Вотъ я воспользовался тремя праздничными днями и уѣхалъ въ Сіенну, испытать хандру уединенную подъ новымъ болѣе пикантнымъ

соусомъ. Вотъ я провелъ день въ Сіеннѣ, осмотрѣлъ множество замѣчательныхъ памятниковъ, прослѣдилъ всю исторію Сіеннской школы живописи на картинахъ собора, церквей, Академіи Belle Arte все это со смысломъ, съ интересомъ и все таки кончаю день мыслью, что на мнѣ, должно быть, лежить печать кайновскаго проклятiя. Да все это прекрасно, но вѣдь есть же вечеръ, голыя, хоть мраморныя стѣны и память, память, работающая при видѣ таковыхъ стѣнъ съ злобою стараго прометеевскаго коршуна. Неужели же мнѣ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ нигдѣ и ни въ чемъ успокоенiя? А возможность его была! Вотъ вѣдь почему мой коварный и вмѣстѣ нѣжный другъ—я не могу разстаться съ неотвязнымъ образомъ, хотя вы меня за это и браните. Это былъ мой искомый алгебраическій X, моя Мадонна, Мадонна Мурильовской манеры. Мнѣ все въ ней было мило, отъ ея глубины и простоты пониманiя до ея апатичности и холодности. Я вѣдь не говорю, что она совершенство, а говорю только, что она была создана совсѣмъ по мнѣ—равно какъ и я созданъ былъ совсѣмъ по ней. Безъ меня—она должна со временемъ обратиться въ записъ ея покойнаго отца или въ *gaideur maniaque* ея матери. Къ тому и другому есть въ ней равное количество данныхъ, какъ въ первоначальной Мадоннѣ Сіеннской школы есть залогомъ и глупо-сонно добродушной Мадонны Фра Беато Анджелино и деревянной Мадоннѣ позднѣйшихъ мастеровъ Сіенны. Можете

однако представить себѣ господина, которому тридцать шестой годъ и который во все вноситъ свою дикую манію! Но повѣрьте мнѣ, другъ мой, во всѣхъ глубокомысленнѣйшихъ вещахъ, которыя сказаны объ искусствѣ ли, о другомъ ли чемъ либо, найдется всегда огромная доза сердца сказавшихъ — только они не обнажали его съ такою циническою откровенностью, какъ Вашъ покорнѣйшій слуга. Наши мысли вообще (если онѣ точно мысли, а не баловство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо и немногіе имѣютъ счастье или несчастье рождать изъ себя собственныя, а не чужія мысли. Надобно вамъ сказать, что вотъ ужъ двѣ недѣли меня что то внѣшнее тяготитъ и давитъ, какъ домовой давитъ. Я и физически даже боленъ и осунулся такъ, что вчера испугалъ своимъ видомъ мою милую и добрую М. К. Много надобно, чтобы я о... выразился «милая и добрая» да еще прибавилъ моя. Она точно моя, въ томъ же смыслѣ какъ и Вы «моя» только съ другой стороны. У Васъ кромѣ меня есть еще много вліяющаго на Васъ благотворно — искусство, мать и братъ, а главное «артистическая натура»... Мы вотъ съ Вами можемъ и говорить по цѣлымъ часамъ и переписываться свободно. Ей бѣдной можно, по приличіямъ, говорить со мной только тогда, когда я имъ читаю. Какое самолюбіе! подумаете Вы при эпитетѣ «бѣдной». Да, любезный

другъ мой, себѣ ли я тутъ придаю значеніе, подумайте хорошенько! Нѣтъ, а тому, что я мученикъ и рабъ, что я выстрадалъ и родилъ, тому, что во мнѣ Божья сила, а не человѣческая личность. Мои рѣзкія требованія правды и идеала отъ жизни, столь мучительныя для меня, столь часто непереносимыя, таковы только для меня, на другихъ они дѣйствуютъ, какъ толчокъ къ развитію. Сжигая меня, они только грѣютъ тѣхъ, для кого они по натурѣ ихъ нужны. Таково было пока мое значеніе — и въ жизни и въ литературѣ, — да должно быть другого не будетъ. А усталъ я, усталъ страшно и, смиряясь подъ крѣпкую руку Божию, все таки хотѣлъ бы успокоиться въ жизни или въ смерти это все равно. Помолитесь когда нибудь за усталаго страннаго, мой добрый ангелъ. Молитвы такихъ душъ, какъ Ваша, доходятъ къ Богу. До свиданія!» Въ этихъ письмахъ, напечатанныхъ въ Эпохѣ 652 съ примѣчаніями Страхова («Новыя письма» Аполлона Григорьева), весь Григорьевъ. Рѣзкость выраженія, страстность, быстрота, глубина мысли, вѣчно kloкочущая кровь, искренность, все это выступаетъ ярко при вдумчивомъ чтеніи переписки. Въ концѣ 1858 года Григорьевъ возвратился въ Россію въ Петербургъ. «Въ іюлѣ 1859 г. въ отъѣздъ графа Кушелева я не позволилъ г. Хмѣльницкому вымарать въ моихъ статьяхъ дорогія мнѣ имена Хомякова, Кирѣевскаго, Аксакова, Погодина, Шевырева. Я былъ уволенъ отъ критики. Фактъ. Негдѣ было писать — я сталъ

писать въ «Рус. Міръ» (Въ 5, 6, 9 и 11 книжкахъ 1860 года этого журнала напечатана статья Григорьева «послѣ «Грозы» Островскаго». Письма къ Ивану Сергѣевичу Тургеневу). Не сошлись. У Старчевскаго — не сошлись. Въ 1860 году я получилъ приглашеніе и вызовъ. Я поѣхалъ на свиданіе и привелъ отвѣтъ на дикій вздоръ Дудбышкина. «Пушкинъ — народный поэтъ», читалъ Каткова — очень понравилось. Отправился въ Москву въ качествѣ критика. Статей моихъ не напечатали, а заставили меня дѣлать какія-то недоступныя для меня выписки о воскресныхъ школахъ и читать рукописи, не печатая впрочемъ, ни одно изъ моихъ одобренныхъ (между прочимъ «Ярмарочныя сцены» Левитова) и печатая вещи Раисы Гарднеръ, обруганныя мною. Зачѣмъ меня приняли? Богъ одинъ вѣдетъ. Факты. Опять въ Петербургъ. Начало «Времени». Хорошее время и время недурныхъ моихъ статей. Но съ четвертой покойнику М. М. (Достоевскому) стало какъ-то жутко частое употребленіе именъ (нынѣ безпрестанно повторяемыхъ у насъ) Хом. и проч. Вижу, что и тутъ дѣло плохо. Въ Оренбургъ». Вотъ тотъ психическій путь, который привелъ Григорьева къ мысли отряхнуть отъ себя всю накипь досады, злости и желчи и уѣхать въ Оренбургъ, чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Вопреки мнѣнію Страхова намъ не кажется, чтобъ отъѣздъ Григорьева былъ дѣломъ его каприза. Слишкомъ много нагорѣло на душѣ Григорьева за все время, чтобъ дольше оставаться въ Петербургѣ.

Это ярко выступает, какъ изъ этого послужного списка его, такъ изъ журналистики того времени, либо не пщадившей самолюбія Григорьева, либо замалчивавшей нашего критика, неподдавапшагося вѣянiю эпохи ядовитаго реализма, не желавшаго почувствовать одностороннюю поэзію мудрости «Пяти книжекъ». Въ Оренбургъ Григорьевъ уѣхалъ на мѣсто учителя рус. языка и словесности въ кадетскій корпусъ. Черезъ годъ онъ выѣхалъ отсюда въ Петербургъ и опять очутился въ водоворотѣ нашей журналистики. Въ «Эпохѣ» 64 г. въ августовск. книжкѣ напечатаны «Воспоминанія объ Аполлонѣ Александровичѣ Григорьевѣ» Страхова. Въ этой статьѣ приведены письма Григорьева изъ Оренбурга къ Страхову, относящiеся къ оренбургской порѣ жизни Григорьева. Тотъ же глубокой интересъ они представляютъ, что и письма изъ Флоренціи. Воротившись изъ Оренбурга, Григорьевъ опять принялся за статьи. «Воротился, опять статьи во «Времени». (Вотъ статьи, напечатанныя во 2, 3, 4, 5 книжкахъ «Времени» за 1861 г.: Развитие идей народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина. Вступленіе. Народность и литература. Западничество въ русской литературѣ. Причины происхожденія его и силы. Бѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ. Оппозиція застоя. Черты изъ исторіи мракобѣсiя). Плещеевъ писалъ Михаилу Михайловичу (Достоевскому) по поводу статей о Толстомъ, что «въ статьяхъ Григорьева найдешь всегда много поучитель-

наго. Еще бы. Получше люди находили, — да еще тирады, какъ Ильинъ, наизусть катали! Недурное также время. Ярия статьи о театрѣ — культъ Достоевскому и смѣлые упрёки Гоголю за многое безцензурно и безпошлинно. Нецеремонно перенесъ три большихъ мѣста изъ старыхъ статей въ новыя, не находя нужнымъ этихъ статей передѣлать. Опять, объявленъ въ неизвинительной распушенности друзьями, Бѣлинскій. Запретъ «Времени». Горячія статьи въ «Якорѣ» (о театрѣ, объ оперѣ Сѣрова, о пьесахъ Островскаго, объ игрѣ П. В. Васильева и проч.), Опять «Эпоха» (Тутъ напечатаны не задолго передъ смертью послѣдняго послѣдняя статья его въ двухъ книжкахъ за 1864 г. въ 5 и 6 и Парадоксы органической критики. Письмо къ Ѳ. М. Достоевскому. Органическій взглядъ и его основной принципъ. Статья эта прервана смертью автора — въ сентябрѣ). Опять я съ тѣми же культами, съ тѣми же достоинствами и недостатками. Редакторская цензура! Ну и что же дѣлать! Видно и съ «Эпохой», какъ критику, а не какъ другу, конечно, приходится разстаться. Тѣмъ болѣе, но пора кончить. 1864 г. сентября 2. Писано сіе не для возбужденія жалости къ моей особѣ ненужнаго человѣка, а для показанія, что особа сія всегда, какъ и въ тѣ дни, когда вѣрные 50 руб. Краевского за листъ мѣняли на невѣрные 15 руб. за листъ въ «Москвитиниѣ», пребывала фанатически преданной своимъ самодурнымъ убѣжденіямъ». Черезъ три недѣли послѣ этой

грустной пѣсни не стало Григорьева. Жизнь его въ общей картинѣ не представляла порядка и урегулированного литературнаго труда. Ни семья, ни относительная матеріальная обеспеченность, ни какая другая сила не охраняла этого человѣка. День мой и конецъ мой, вотъ любимая формула всей цыганской жизни Григорьева. Потому денежные дѣла его были всегда сильно разстроены, вслѣдствіе чего онъ попалъ въ долговое отдѣленіе. Черезъ четыре дня послѣ освобожденія изъ него онъ умеръ. Въ заключеніе намъ хотѣлось бы сказать устами его милаго Гораціо Косицы, устами его друга и ученика въ дѣлѣ критики, Страхова — какова существенная заслуга Григорьева, долженствующая увѣковѣчить имя его на всегда въ исторіи русской словесности и что было существеннаго въ этой огнedyшущей натурѣ покойнаго нашего критика. Въ чемъ заключается его историко-литературное значеніе? «Имя Григорьева останется навсегда связаннымъ съ тремя именами: Пушкина, Островскаго и Тургенева (стр. VII, Предисл. къ I тому Соч. Григорьева). Вообще же у Ап. Григорьева мы встрѣтимъ отзывы о множествѣ писателей, такъ какъ онъ старался всегда показать связь и внутреннія отношенія между различными литературными явленіями. Эти указанія всѣ соединяются въ одинъ взглядъ или лучше всѣ вытекаютъ изъ одного взгляда, принадлежащаго Григорьеву и единственнаго у насъ общаго взгляда на развитіе нашей литературы. Въ

крупныхъ чертахъ взгляды этотъ будетъ таковъ. «Въ Пушкинѣ обозначились и объемъ и мѣра нашихъ симпатій. Всѣ послѣдующія явленія представляютъ развитіе тѣхъ элементовъ, которые сказались въ Пушкинѣ. Происходятъ различныя колебанія въ борьбѣ между своимъ и чужимъ, между смирнымъ и хищнымъ типомъ, между отрицательнымъ и прямымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, и всѣ эти требованія совершаются около точекъ, уже опредѣлившихся въ Пушкинѣ. Онъ одинъ есть полный образъ русской души, но лишь въ очеркѣ, безъ красокъ, которыя лишь потомъ являются въ предѣлахъ его очертаній, въ немъ появилось наше типовое народное и съ тѣхъ поръ растеть и выясняется (VII стр. Предисловіе Страхова къ I т. Соч. Григорьева). Таково въ общемъ видѣ значеніе Григорьева. Въ нашей литературѣ есть два лица, близко знавшіе Григорьева и могущія сказать о немъ правдивое слово какъ о литераторѣ, такъ и о человѣкѣ. Лица эти — Н. Страховъ и Ф. Достоевскій. Григорьевъ былъ цѣльной натурой; гдѣ начинался литераторъ и гдѣ кончался человѣкъ въ немъ — нельзя было опредѣлить. Тѣмъ не менѣе вотъ попытка Н. Н. Страхова охарактеризовать его какъ литератора. Попытка интересная! «А между тѣмъ литераторъ онъ былъ настоящій, т. е. не взявшійся за перо случайно, хотя бы при нѣкоторой охотѣ и способности къ писанію, а напротивъ полный идей, захватывавшихъ все его существо и требовавшихъ себѣ исхода и

выраженія. Сочиненія его, полного изданія которыхъ нельзя не ждать съ нетерпѣніемъ, предѣляютъ цѣлыя громады мыслей, въ которыя всматриваться будетъ долго поучительно. Въ нихъ найдетъ себѣ неистощимую пищу всякій, кто дѣйствительно любить и уважаетъ литературу и искусство. Удивительная глубина и ширина взгляда, даже теряющагося и расплывающагося только по причинѣ своей глубины и ширины, давала Григорьеву возможность дѣлать намеки и указывать черты, которыя уловлены съ поразительною вѣрностью, хотя и остаются чертами и намеками. Тутъ обширное поприще для изученія и пониманія. Нѣтъ писателя, у котораго бы въ писаніяхъ такъ мало было сочиненія и такъ много жизни, какъ у Григорьева. Оттого то они и любопытны, такъ обильны содержаніемъ. Григорьевъ писалъ, увлекаемый своими вѣяніями; онъ сливался съ предметомъ, наполнявшимъ его мысли. Что же вышло? Его встрѣтили недоразумѣніемъ, насмѣшками, глумленіемъ. Онъ не хотѣлъ да и не могъ какъ-нибудь примѣниться къ тону, языку, пріемамъ, господствовавшимъ въ литературѣ. Поэтому такъ часто онъ вовсе не находилъ журнала, гдѣ могъ писать, что хотѣлъ. Григорьевъ не былъ бы Григорьевымъ, если бы изъ него могъ выйти журнальный работникъ, который, подчиняясь случаямъ и надобности, пишетъ о томъ и другомъ. Отсюда понятно, что для него менѣе, чѣмъ для кого нибудь другого, было возможно устроить себѣ правильный и ровный

доходъ. Кромѣ того, и въ случаѣ дѣятельной работы; зависимость отъ минуты, отъ расположенія духа, кажущаяся легкость труда, утомленіе тѣмъ болѣе опасное, что подходитъ незамѣтно, отсутствіе всякой нити, которая механически регулировала бы работу и распредѣляла время, все это вело къ житейскому безпорядку и со всѣмъ этимъ менѣе всякой другой могла справиться непрактическая натура Григорьева. Все это однако же еще ничего незначить; даже то, что въ литературѣ не было признано за нимъ настоящаго мѣста и значенія, еще не составляло самаго большого зла. Главное, отъ чего страдалъ Григорьевъ, было постоянное стремленіе въ энтузіазму, къ тому самому энтузіазму, въ которомъ заключалась вся его сила, какъ критика и писателя. Минуты, когда онъ писалъ самыя тайныя біенія жизни, воплощенные искусствомъ, были настоящими, живыми минутами Григорьева. Но за ними слѣдовалъ упадокъ силъ, при которомъ весь личный міръ человѣка тускнѣетъ и обезцвѣчивается; неизбѣжно слѣдовало смутное и тревожное исканіе идеала въ своей собственной жизни. Вотъ почему Григорьевъ былъ человѣкъ въ высшей степени напряженный, какъ онъ самъ выражается о своихъ первыхъ стихотвореніяхъ, хоть въ то же время совершенно искренній. Онъ ни въ чемъ не могъ помириться на серединѣ. Онъ старался возводить свои мысли и чувства до идеальной глубины и чистоты; если же обрывался въ этихъ усиліяхъ, то прямо переходилъ въ противоположную

крайность и погружался въ безпорядкѣ жизни съ какимъ то сладострастіемъ цинизма. Эти безпре-
станныя противоположности поражали всякаго, кто
въ первый разъ узнавалъ Григорьева; они сломили
его жизнь и подорвали его крѣпкую натуру. Увы!
Очевидно Григорьевъ не былъ властителемъ тѣхъ силъ,
которыя въ немъ жили, не онъ управлялъ ими, а
онѣ имъ. Недаромъ, какъ лучшею похвалою, онъ
хвалился своею искренностью, своимъ нелицемѣр-
нымъ служеніемъ духу, въ немъ вѣявшему. Какъ
то въ одинъ изъ послѣднихъ разговоровъ съ нимъ
я сказалъ ему объ одномъ вопросѣ: «ты знаешь,
что я не согласенъ съ тобой въ этомъ случаѣ; мо-
жетъ быть ты однакожь болѣе правъ»... «Правъ или не
не правъ, перебилъ онъ меня, этого я не знаю; я — вѣя-
ніе». И вотъ силы, которыя онъ носилъ въ себѣ, из-
носили его самого; онъ умеръ, 25 Сент. 1864 г. со-
жигаемый огнемъ своего вѣянія. (Эпоха, 1864 г.
Окт. 49—50. Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ.
Страхова). Достоевскій высказалъ взглядъ на лич-
ность Григорьева по поводу писемъ послѣдняго, пи-
санныхъ изъ Оренбурга своему Гораціо Страхову
въ 1863 г. Взглядъ этотъ необыкновенно точенъ.
Дѣйствительно Григорьевъ носилъ въ себѣ, въ основѣ
своего духовнаго склада ту черту, на которую глу-
бокій и ясный психологъ-писатель указываетъ въ
слѣдующихъ строкахъ: «. . . . Въ этихъ
великолѣпныхъ, *историческихъ* письмахъ, въ кото-
рыхъ не звучитъ ни одной фальшивой, неискренней

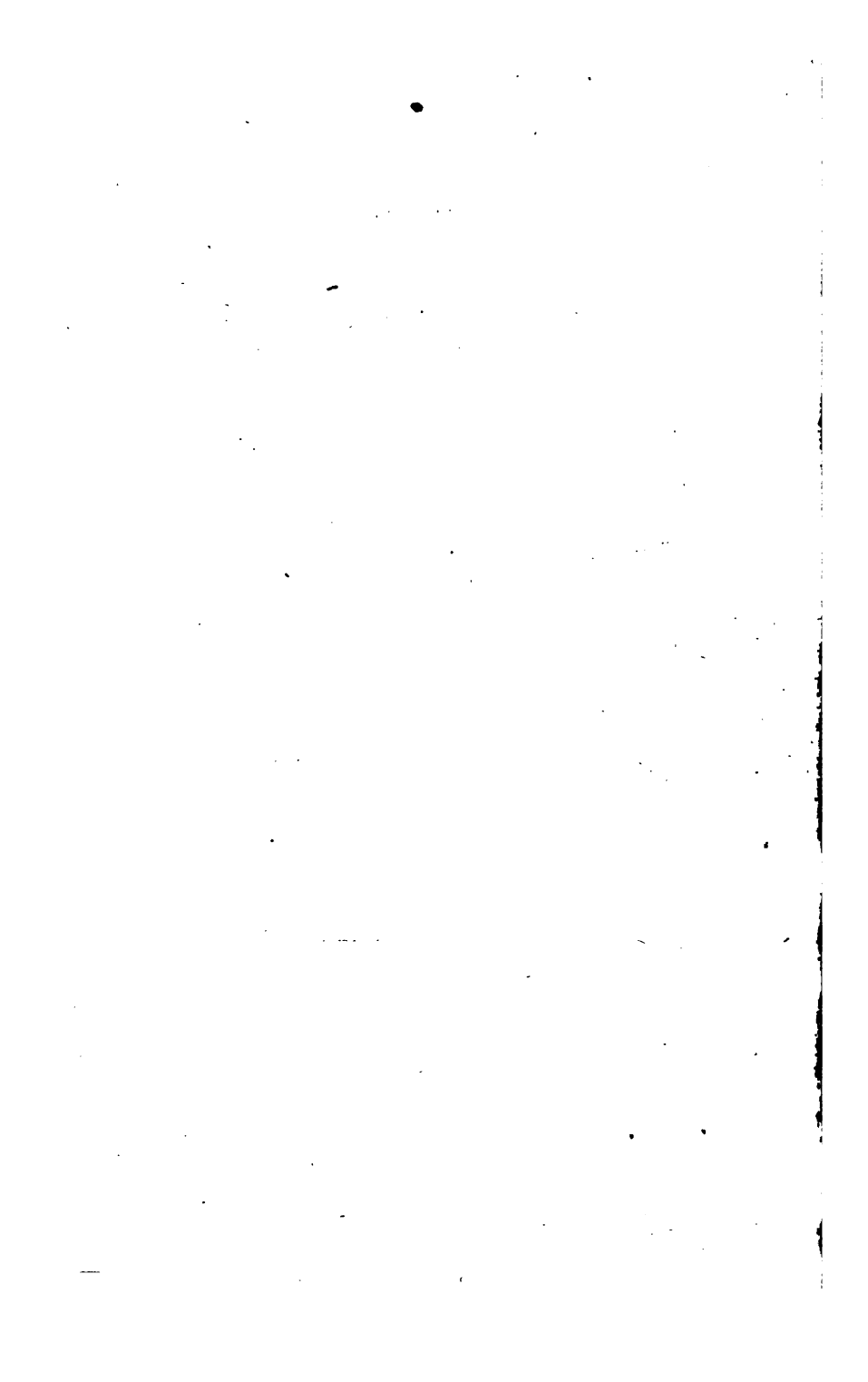
ноты и въ которыхъ такъ типично, хотя все еще не вполне, обрисовывается одинъ изъ русскихъ Гамлетовъ нашего времени» (шестидесятыхъ годовъ — разумѣть Достоевскій) — настоящихъ Гамлетовъ — въ этихъ великолѣпныхъ письмахъ, — говорю я, не все и теперь можетъ быть взято редакціей «Эпохи» безъ оговорокъ. Безъ сомнѣнія — каждый литературный критикъ долженъ быть и самъ поэтъ; это, кажется, одно изъ необходимѣйшихъ условій настоящаго критика. Григорьевъ былъ настоящій и страстный поэтъ; но онъ былъ и капризенъ, и порывистъ, какъ страстный поэтъ. Я не о томъ собственно говорю, что онъ *увлекался*, фраза, которую некрологисты его (изъ которыхъ безъ сомнѣнія рѣдкій и читалъ Григорьева) обратили въ пошлое выраженіе. Григорьевъ былъ хотъ и настоящій Гамлетъ, но онъ, начиная съ Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и Гамлетиками, былъ одинъ изъ тѣхъ Гамлетовъ, которые менѣе прочихъ раздвигались, менѣе другихъ и рефлексировали. Человѣкъ онъ непосредственно и во многомъ даже себѣ невѣдомо-почвенный, кряжевой. Можетъ быть изъ всѣхъ своихъ современниковъ онъ былъ наиболѣе русскій, какъ натура (не говорю — какъ идеаль; это разумѣется). Отъ этого и происходило, что малѣйшій порывъ свой въ общемъ дѣлѣ онъ считалъ до того *кровнымъ* и необходимымъ для *всего* дѣла, до того неразрывнымъ съ дѣломъ, что малѣйшее неудовлетвореніе этому порыву казалось

ему иногда падениемъ всего дѣла. И такъ какъ раздвигался онъ жизненно менѣе другихъ и, раздвоившись — не могъ также удобно, какъ всякій «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску первой своей половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже въ прекрасныхъ стихахъ, съ самообожаніемъ и съ нѣкоторымъ гастрономическимъ наслажденіемъ, то и заблѣвалъ онъ тоской весь, цѣликомъ, *всѣмъ человекомъ*, если позволять такъ выразиться. Въ этомъ настроеніи и написаны письма его». (Эпоха 1864 г. Ноябрь).

Гамлетъ — этимъ еще далеко не все сказано о Григорьевѣ, но очень точно указана основная черта творческой души Григорьева. По скольку нашъ критикъ былъ носителемъ стихій русскаго духа, народной нашей сущности, по столько онъ былъ кряжевой, корневой натурой. Блескъ Запада не побѣдилъ тусклаго блеска нашихъ народныхъ стихійныхъ началъ; въ этомъ мы видимъ ясное доказательство того, что нашъ критикъ былъ кряжевой натурой, сколкомъ съ основной народной сущности. Какъ извѣстно тотъ же процессъ повторился съ самимъ Достоевскимъ и съ нынѣ здравствующимъ дорогимъ и чистѣйшимъ представителемъ лучшихъ традицій литературнаго прошлаго Страховымъ *), когда оба

*) Умеръ въ Январѣ 1896 г. въ Петербургѣ. Похороненъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

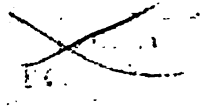
они были за границей. Но по сколько въ Григорьевѣ жили и дѣйствовали силы духа, сходныя съ Гамлетомъ, по столько онъ былъ Гамлетомъ. Анализъ, аналитическое начало — было его стихіею. Не даромъ съ такою прозорливостію указалъ онъ на это начало въ зачинавшейся «Севастопольскими разсказами» литературной дѣятельности гр. Л. Толстого. Вся дальнѣйшая литературная дѣятельность гр. Л. Толстого есть подтвержденіе этого взгляда нашего критика. Созданіе же лица Константина Левина есть итогъ развитія этого начала въ нашемъ глубоко-любезномъ, маститомъ писателѣ. Но не одно это начало было стихіею Григорьева. У Гамлета не было рѣшимости, дерзости — въ лучшемъ смыслѣ слова, Гамлетъ медлилъ провести въ жизнь теоретически развившуюся и созрѣвшую мысль, оплодотворить ею практику, не опасаясь за доброкачественность этой мысли.



- Гюго В. Труженники моря. Ром. Пер. съ франц., съ портрет. авт. и 16 рисунками 1889 г., ц. 1 р. 50 к.
- Человѣкъ, который смѣется. Романъ, съ портретомъ автора. Спб. 1890 г., ц. 2 р.
- Гизо, Ф. Исторія цивилизаціи въ Европѣ. Спб. 1898 г. ц. 1 р.
- Дюгамель. Методы умозрительныхъ наукъ. 1867 г., ц. 85 коп.
- Дудышкинъ, С. Г. По западной Европѣ. Картины и очерки природы и жизни народовъ западно-Европейскихъ Государствъ. М. 1899 г. ц. 1 р. 50 к.
- Иловайскаго, Д. Сочиненія: I Исторія Рязанскаго княжества—II Екатерина Романовна Дашкова—III Графъ Яковъ Сиверсъ. М. 1884 г., ц. 3 р. 50 к.
- Иаца, Р. Д-ра Мед. Очки. ихъ польза и вредъ. съ 7 рисунками въ текстѣ. 1897 г. 50 к.
- Иаца, Р. Д-ра Мед. О защитѣ глаза отъ вѣшнихъ вредныхъ вліаній. Съ 3 рисунк. Спб. 1897 г., ц. 30 к.
- Ковалевскій. Общественный строй Англіи М. 1830 г., ц. 3 р.
- Крашевскій. Сиротская доля. Романъ. 1892 г. ц. 1 р. 50 к.
- Льюисъ Д. Жизнь І. Вольфгана Гете. Пер. Невѣдомскаго въ 2 ч. Спб. 1867 г., ц. 4 р.
- Льюисъ, Дж. Г. Исторія философіи перев. съ послѣдняго англійскаго изданія, съ приложеніемъ статьи В. Д. Вольфсона. О жизни и ученіи Шопенгауера и Гартмана. Изд. 3-е. съ полнымъ алфав. указателемъ. Спб. 1897 г. ц. 3 р.
- Жизнь и ученія Спинозы изд. 2-е. 1899 г. ц. 25 к.
- Эмануилъ Кантъ Его жизнь и историческое значеніе, Спб. 1897 г. ц. 25 к.
- Михайловъ. Очерки природы и быта Вѣхоморскаго края Россіи. Охота въ лѣсахъ Архангельской г. 1868 г., ц. 1 р. 50 к.
- Малороссійскій Сборникъ повѣстей, сценъ, рассказовъ и вѣдѣлій извѣстныхъ Малороссійскихъ писателей: Шевченко, Гоголя, Котаревскій, Кулишъ, Мордовцевъ, Крапывницкій и друг. съ портретомъ Т. Шевченко. М. 1899 г., ц. 1 р. 75 к.
- Никитскаго, А. Очеркъ внутренней исторіи Пскова. Спб. 1873 г., ц. 1 р. 50 к.
- Немировичъ-Давченко. У океана. Жизнь, на крайнемъ сѣверѣ. Спб. 1875 г. ц. 2 р. 50 к.
- Омелевскій. Пѣсни жизни, стихотворенія автора книги «Свѣтловъ». (Шагъ за шагомъ). Спб. 1883 г., въ перепл. 3 р. 50 к.
- Рибо, Т. Современная германская психологія (опытная школа). Пер. съ 2-го фран. изд. исправленнаго и дополненнаго. Спб. 1895 г., ц. 1 р. 50 к.
- Рохау, А. Исторія Франціи отъ 1814 до 1852 г. пер. М. Антоновича и А. Пыпина 2 т. Спб. 1866 г. ц. 3 р. 50 к.
- Смирнова, С. Соль земли. Романъ въ 2-хъ т. Спб. 1875 г., ц. 3 р.
- Соколовъ Н. Иллюзія поэтическаго творчества. Эпосъ и лирика гр. А. К. Толстаго. Критич. изслѣдов. 1890 г., ц. 2 р.
- Сенкевичъ, Генр. Убытокъ силы. Повѣсть. Спб. 1893 г., ц. 75 к.
- Тенкерей, Вил. Ньюкомы, семейная хроника одной очень почтенной фамиліи. Перев. съ англійск. С. Майковой, въ 4 т. Спб. 1890 г. ц. 3 р.
- Энземпларскій, А. Великіе и удѣльные князья сѣверной Руси въ татарскій періодъ, два тома. 1889 -1891 г. ц. 3 р. 20 к.

Дозволено цензурою Спб. 18 Сентября 1899 г.

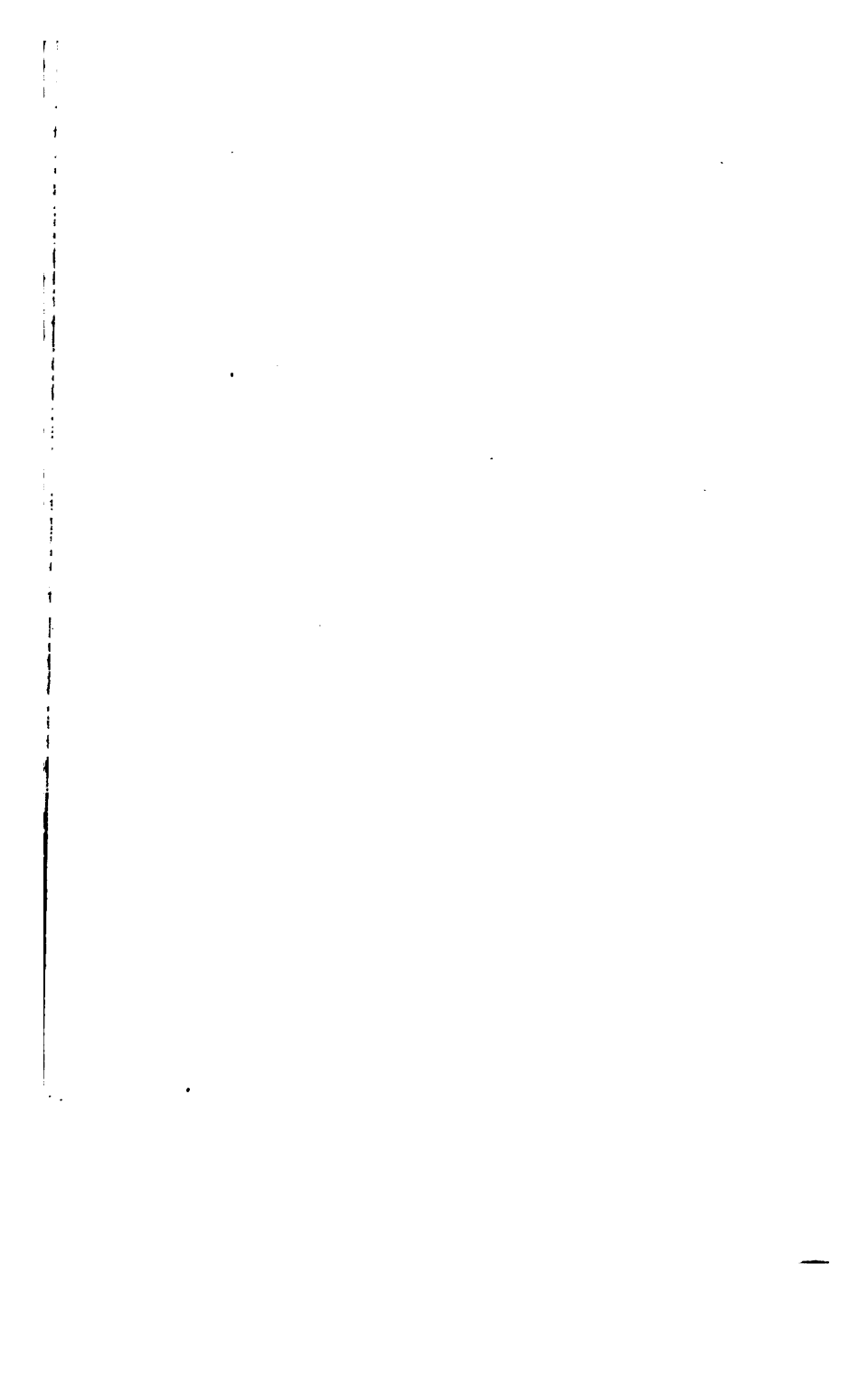
68-232



6

АНТЕННАТА	
СНР	2
884	20/12/68







This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly

CANCELLED
MAY 6 1983
2445

CANCELLED
APR 2 - 1983
452
MAR 1 4 1983

CANCELLED
MAY 6 1983
OCT 2 1983

